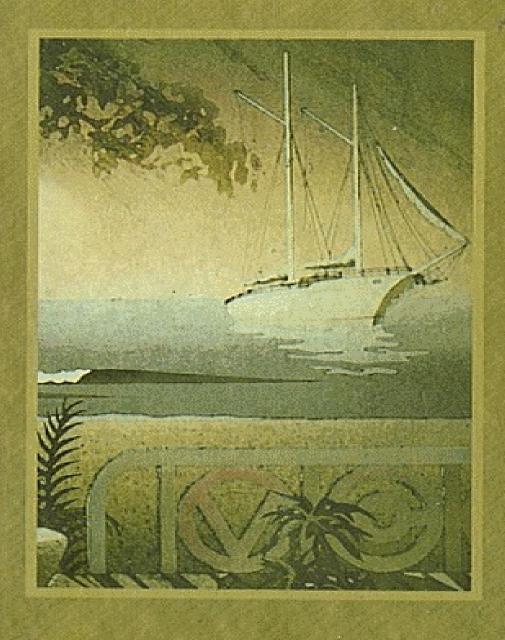
Aupa





ЭМИГРАНТЫ

Annotation

Русскую поэзию нельзя представить без Музы изгнания. При формировании сборника использован антологический принцип.

- Крестные раны
- Георгий Викторович Адамович
 - «И после навеки забыл...»
 - «Ночью он плакал. О чем, все равно...»
 - «Что там было? Ширь закатов блеклых...»
 - «Наперекор бессмысленным законам...»
 - «Но смерть была смертью. А ночь над холмом...»
 - «Да, да... я презираю нервы...»
 - «Осенним вечером в гостинице, вдвоем...»
 - «Нам Trista давно родное слово...»
 - «Как холодно в поле, как голо...»
 - «Там, где-нибудь, когда-нибудь...»
- Константин Дмитриевич Бальмонт
 - Прощание с деревом
 - <u>Узник</u>
 - Только
 - Она
 - Верблюды
 - Полдень
 - Первозимье
 - Медвяная тишь
 - Здесь и там
 - Я русский
 - Осень
 - Русь
 - Русский язык
 - Дюнные сосны
 - Колодец
 - «Средь птиц мне кондор всех милее...»
 - «Если зимний день тягучий...»
 - Косогор
- Иван Алексеевич Бунин

- Во полунощи
- «Высокий белый зал, где черная рояль...»
- Звезда морей, Мария
- Изгнание
- Канарейка
- «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...»
- Сириус
- «И вновь морская гладь бледна...»
- «Все снится мне заросшая травой...»
- Петух на церковном кресте
- «Что впереди? Счастливый долгий путь...»
- «Опять холодные седые небеса...»
- «Только камни, пески, да нагие холмы...»
- «Земной, чужой душе закат!..»
- Отрывок
- Портрет
- «Уж ветер шарит по полю пустому...»
- «Ночью, в темном саду, постоял вдалеке...»
- «Ты жила в тишине и покое...»
- «Один я был в полночном мире...»
- «И снова ночь, и снова под луной...»
- «Ночь и дождь, и в доме лишь одно…»
- Венки
- Ночь

• Зинаида Николаевна Гиппиус

- Mepa
- Женскость
- ∘ За что?
- Когда?
- Игра
- Сложности
- ∘ <u>«Петроград»</u>
- Тли
- Веселье
- Сейчас
- ∘ **y**. C
- ∘ 14 декабря. 17 года
- Боятся
- Нет

Дон Аминадо

- 1917
- Эпилог
- Города и годы
- Люблю декабрь...
- Послесловие
- Исповедь
- Искания
- Когда мы вспомним
- Уездная сирень
- Воспоминание
- Как рассказать?
- Бабье лето
- Потонувший колокол

• Георгий Владимирович Иванов

- «Я не хочу быть куклой восковой...»
- «Зеленою кровью дубов и могильной травы...»
- «Охотник веселый прицелился...»
- «Это качается сосна...»
- «С пышно развевающимся флагом...»
- «Паспорт мой сгорел когда-то...»
- «Здесь в лесах даже розы цветут...»
- «Я научился понемногу...»
- «Рассказать обо всех мировых дураках...»
- «А люди? Ну на что мне люди?..»
- «Если бы жить... Только бы жить...»
- «Все чаще эти объявленья...»
- «Черная кровь из открытых жил...»
- «Я люблю эти снежные горы...»
- «Мелодия становится цветком…»
- «Нет в России даже дорогих могил...»
- «Иду и думаю о разном...»
- «Свободен путь под Фермопилами...»
- «Мне весна ничего не сказала...»
- «Было все и тюрьма, и сума...»
- «Распыленный мильоном мельчайших частиц...»
- «Как обидно чудным даром...»
- «Портной обновочку утюжит...»
- «Зима идет своим порядком...»

- «Эмалевый крестик в петлице...»
- «Повторяются дождик и снег...»
- «Прозрачная ущербная луна...»
- Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева
 - «Мы не выбирали нашей колыбели...»
 - «Там было молоко, и мед...»
 - «Братья, братья, разбойники, пьяницы...»
 - «Убери меня с Твоей земли...»
 - «Не то, что мир во зле лежит, не так...»
 - «Что я делаю? Вот без оглядки...»
 - «Мне кажется, что мир еще в лесах…»
 - «С народом моим предстану...»
 - «Чудом Ты отверз слепой мой взор...»
 - «Там, между Тигром и Евфратом...»
 - «И каждую косточку ломит...»
 - «Трудный путь мы избирали вольно...»
 - «Нечего больше тебе притворяться...»
 - «Припасть к окну в чужую маету...»
- Владимир Владимирович Набоков
 - «В неволе я, в неволе я, в неволе!..»
 - Жемчуг
 - «Нет, бытие не зыбкая загадка...»
 - «В кастальском переулке есть лавчонка...»
 - «Ты все глядишь из тучи темно-сизой...»
 - «При луне, когда косую крышу...»
 - Молитва
 - Прохожий с ёлкой
 - Сон
 - Воскресение мёртвых
 - Годовщина
 - Комната
 - К России
 - Родина
 - <u>Билет</u>
 - Расстрел
 - <u>Лыжный прыжок</u>
 - Вершина
 - Крушение
 - <u>Путь</u>

- Первая любовь
- «Для странствия ночного мне не надо...»
- Сны
- Поэты
- o L'inconnue de la seine
- «И утро будет: песни, песни...»
- «Я где-то за городом, в поле...»
- На закате
- Видение
- «Как воды гор, твой голос горд и чист...»
- В раю
- Скитальцы
- На рассвете
- «Санкт-Петербург узорный иней...»
- Кинематограф
- Тихий шум
- «Глаза прикрою и мгновенно...»
- «Благодарю тебя, отчизна...»
- «Когда я по лестнице алмазной...»
- К России

• Арсений Несмелов

- В этот день
- Восемнадцатому году
- Божий гнев
- В Нижнеудинске
- Баллада о Даурском. бароне
- Встреча первая
- Цареубийцы
- Бродяга
- «Ловкий ты и хитрый ты...»
- Пять рукопожатий
- О России
- «Сыплет небо щебетом...»
- Стихи о Харбине
- «Ночью думал о том, об этом...»
- Ночью
- Высокому окну
- Орбита
- Родина

- Разведчики
- Воля
- Николай Авдеевич Оцуп
 - «Где снегом занесенная Нева...»
 - «Счет давно уже потерян...»
 - «Я много проиграл. В прихожей стынут шубы...»
 - «Вот барина оставили без шубы...»
 - «Я поражаюсь уродливой цельности...»
 - «Есть свобода умирать...»
- Владимир Александрович Петрушевский
 - Я поздно родился...
 - Дорогой, всегда любимой
 - «"Февраль и Март" вы дети сатаны...»
 - Их императорским, высочествам августейшим дочерям Государя
 - Наступит день...
 - «Если порою взгрустнется...»
 - Завет
- Иван Савин
 - «Оттого высоки наши плечи...»
 - Колыбельная
 - «Не бойся, милый. Это я...»
 - «Законы тьмы неумолимы...»
 - У последней черты
 - «Все это было. Путь один...»
 - «Кто украл мою молодость, даже...»
 - «Ты кровь их соберешь по капле, мама...»
- Игорь Северянин
 - Отходная Петрограду
 - Конечное ничто
 - Я мечтаю...
 - Их образ жизни
 - Не по пути
 - Моя Россия
 - <u>Бессмертным</u>
 - На смерть Валерия Брюсова
 - Классические розы
 - Что нужно знать
 - И будет вскоре...
 - Предгневье

- Отечества лишенный
- Стихи Москве
- Народный суд
- Слова солнца
- Пасха в Петербурге
- Зеленое небо
- Десять лет
- В пути
- Осенние листья
- На Эмбахе
- Тишь двоякая
- ∘ Бывают дни...
- Искренний романс
- Здесь не здесь
- Грустный опыт
- Наболевшее...
- Владимир Алексеевич Смоленский
 - «Над Черным морем, над белым Крымом...»
 - «Кричи не кричи нет ответа...»
 - «Осталось немного мириады в прозрачной пустыне...»
 - «Мы вышли ранним утром...»
 - «О гибели страны единственной...»
 - «Я слишком поздно вышел на свидание...»
- Владислав Фелицианович Ходасевич
 - <u>Берлинское</u>
 - «Было на улице полутемно...»
 - «Весенний лепет не разнежит...»
 - Слепой
 - «Вдруг из-за туч озолотило...»
 - «С берлинской улицы...»
 - An maziecken[1]
 - «Нет, не найду сегодня пищи я...»
 - «Всё каменное. В каменный пролет...»
 - «Встаю расслабленный с постели...»
 - Хранилище
 - «Интриги бирж, потуги наций...»
 - Из дневника
 - Перед зеркалом
 - Окна во двор

- Баллада
- Звезды
- Петербург
- Бедные рифмы
- Скала
- Веселье
- <u>R</u> •
- «Сквозь уютное солнце апреля...»
- Марина Ивановна Цветаева
 - «Есть час на те слова...»
 - «Когда же, Господин...»
 - «Думалось: будут легки...»
 - ∘ <u>«Руки ив круг…»</u>
 - Берлину
 - «Вкрадчивостию волос...»
 - «Леты подводный свет...»
 - «Это пеплы сокровищ...»
 - «Спаси Господи, дым!..»
 - Хвала богатым
 - Рассвет на рельсах
 - Эмигрант
 - Душа
 - Расщелина
 - «На назначенное свиданье...»
 - Рельсы
 - Брат
 - Час души
 - Наклон
 - Заочность
 - Письмо
 - Минута
 - Клинок
 - Отрывок
 - Крик станций
 - Ночные места
 - «Брожу не дом же плотничать...»
 - ∘ <u>«Живу не трогаю…»</u>
 - «Существования котловиною...»
 - «Что, Муза моя? Жива ли еще?..»

- ∘ <u>«В седину висок…»</u>
- «Променявши на стремя...»
- «Рас—стояние: версты, мили...»
- «Русской ржи от меня поклон...»
- ∘ «От родимых сёл, сёл!..»
- Маяковскому
 - **1**
 - **2**
 - **3**
 - **=** 4
 - **=** 5
 - **6**
 - **-** <u>7</u>
- Страна
- Родина
- ∘ <u>«Никуда не уехали ты да я…»</u>
- «Вскрыла жилы: неостановимо...»
- «Тоска по родине! Давно...»
- Читатели газет
- «Когда я гляжу на летящие листья...»
- «Мне Францией нету...»
- <u>notes</u>
 - 0 1
 - o <u>2</u>
 - o <u>3</u>
 - 0 4
 - 0 5



Крестные раны



Несть числа русским трагедиям века прошлого, чей белый плат надежд был изорван и окровавлен на братоубийственных ветрах. Все ли потери сполна оплаканы, осознаны?.. Неугасаемо горят поминальные свечи в храме отечественной словесности, бередя душу случившимся на многие годы расколом знаменитой литературы. Образы тех, кто не по своей воле оказался в рассеянии, осияны мученическим светом. Быть вне России, но думать, писать о ней — нет горше доли для русского писателя.

Так и видится бальмонтовское древо, что «в веках называли Россией», захваченное апокалипсическим вихрем. Листья летят по свету — принуждены пасть у Сены, в другом ли месте... Отныне жизнь в чуждом пределе станет называться по-цветаевски — «тоска по Родине».



Вырвутся тягостным выдохом строки — они больше, чем поэзия, они исповедывание уже перед самим Господом. Такие стихи исторгает человеческое естество, и они сродни слезам, крови. Такие стихи и есть — как у Бунина — «боль крестных ран».

Тяготясь чужбиной, не сметь думать о возвращении домой? Как можно! Русскому поэту нельзя без родины. Исключения есть, но это уже другая планида, иная литература. Речь не об этом. Русский поэт живет родиной в стихах.

Пожалуй, точнее остальных в выражении чувства к отдаленной России оказался Игорь Северянин.

Моя безбожная Россия, Священная моя страна!

Осознание сего упрочает дух, дает силы... И это, когда «В неволе я, в неволе я, в неволе!» и из тех же набоковских уст — обращением к Отчизне: «...Мое ль безумие бормочет, твоя ли музыка растет...». Хрестоматийное Арсения Несмелова «Россия отошла, как пароход...» раздирает душу, как и несбыточное у Дона Аминадо: «Эх, если бы узкоколейка /Шла из Парижа в Елец». А в урочный час беззаветная храбрость по-русски — «Головой за вечную Отчизну лечь» (Кузьмина-Караваева). И объяснением страшных лет России становится двустишие того же Несмелова:

В наше ж время не сдавались в плен, Потому что в плен тогда не брали!

Или-или.

Только в поэзии такого нет. Стихи не разделить на белых, красных или еще каких. Поэзия сама по себе. Содрогаешься над Георгием Ивановым:

Было все — и тюрьма, и сума. В обладании полном ума, В обладании полном таланта, С распроклятой судьбой эмигранта Умираю...

А ведь неуслышанная в свое время Муза русской эмиграции и теперь как бы не ко двору. Хотя, хотя, кто знает... Дойди же в глухие времена поэзия изгнания до тех, кто мог читать только известных, определенных стихотворцев, пусть хороших и разных, быть может, было бы иным устройство нашего Отечества. Как не отозваться всем своим существом на сказанное Иваном Алексеевичем Буниным в конце жизни:

Золотой недвижно свет До постели лег. Никого в подлунной нет, Только я да Бог.

Знает только он мою Мертвую печаль...

Сожалеть лишь о прошлом? А если и ныне творится подобное уже в самой России? Высокий слог не в чести, поэты отставлены, они странно «эмигрировали в себе»... Их голоса кому слышны? Сокрушаться же придется потом. Печально и горько сие.



...Собранные в свод стихотворные строки теснятся перед воспаленными глазами, кровавя донельзя душу плачем по русской земле и одновременно врачуя ее, пока не наступает забытье. И тогда — как сочетание мыслей, чувств — увиден

Вещий сон

Вознесенье пасхального гуда, только взор упадает во тьму... Этот сон, я не знаю, откуда, этот сон, я не знаю, к чему:

скачет лошадь, убитая лошадь, мимо русских кладбищенских плит; след копытный — свечение плошек, дым встает и к востоку летит

против сильного ветра — в пределы,

где невмочь и терпеть и любить... Белый флаг — мое белое дело, золотая рассыпалась нить;

ну а дым все чернее, чернее, развевает, как искры, шитво: я на родине, только не с нею, как мне жить, если всюду мертво!..

Виктор Петров



Георгий Викторович Адамович 1892–1972



«И после навеки забыл...»

И после навеки забыл, За все, что в сгораньях заката Искал ты и не находил,

И за безысходность мечтанья И холод, растущий в груди, И медленное умиранье Без всяких надежд впереди,

За белое имя спасенья, За темное имя любви Прощаются все прегрешенья И все преступленья твои.

«Ночью он плакал. О чем, все равно...»

H.P.

Ночью он плакал. О чем, *все* равно. (Многое спутано, затаено). Ночью он плакал, и тихо над ним Жизни сгоревшей развеялся дым. Утром другие приходят слова, Перебираю, что помню едва.

Ночью он плакал... И брезжил в ответ Слабый, далекий, а все-таки свет.

«Что там было? Ширь закатов блеклых...»

Что там было? Ширь закатов блеклых, Золоченых шпилей легкий взлет, Ледяные розаны на стеклах, Лед на улицах и в душах лед.

Разговоры будто бы в могилах, Тишина, которой не смутить... Десять лет прошло, и мы не в силах Этого ни вспомнить, ни забыть.

Тысяча пройдет, не повторится, Не вернется это никогда. На земле была одна столица, Все другое — просто города.

«Наперекор бессмысленным законам...»

Наперекор бессмысленным законам, Наперекор неправедной судьбе Передаю навек я всем влюбленным Мое воспоминанье о тебе.

Оно, как ветер, прошумит над ними, Оно протянет между ними нить, И никому неведомое имя Воскреснет в нем и будет вечно жить.

О, ангел мой, холодную заботу, Сочувствие без страсти и огня Как бы по ростовщическому счету Бессмертием оплачиваю я.

«Но смерть была смертью. А ночь над холмом...»

Но смерть была смертью. А ночь над холмом Светилась каким-то нездешним огнем, И разбежавшиеся ученики Дышать не могли от стыда и тоски.

А после... Прозрачную тень увидал Один. Будто имя свое услыхал Другой... И почти уж две тысячи лет Стоит над землею немеркнущий свет.

«Да, да... я презираю нервы...»

Да, да... я презираю нервы, Истерику, упреки, все. Наш мир — широкий, щедрый, верный, Как небеса, как бытие.

Я презираю слезы, — слышишь? Бесчувственный я, так и знай! Скажи, что хочешь., тише, тише... Нет, имени не называй.

Не называй его... а впрочем, Все выдохлось за столько лет, Воспоминанья? Клочья, клочья. Надежды? Их и вовсе нет.

Не бойся, я сильней другого, Что хочешь говори... да, да! Но только нет, не это слово Немыслимое:

никогда.

«Осенним вечером в гостинице, вдвоем...»

Осенним вечером в гостинице, вдвоем, На грубых простынях привычно засыпая... Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом? Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна, Обои движутся под неподвижным взглядом. Кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она с тобою рядом?

Безлунным вечером, Бог знает где, вдвоем, В удуший духов, над облаками дыма... О том, что мы умрем. О том, что мы живем. О том, как страшно все. И как непоправимо.

«Нам Trista — давно родное слово...»

Sulmo mihi patria est...

Овидий

Нам Trista — давно родное слово. Начну ж, как тот: я родился в Москве. Чуть брезжил день последнего, Второго, В апрельской предрассветной синеве.

Я помнить не могу, но помню, помню Коронационные колокола. Вся в белом, шелестящем, — как сегодня! Мать улыбаясь в детскую вошла.

Куда, куда? — мы недоумеваем. Какой-то звон, сиянье, пустота... Есть меж младенчеством и раем Почти неизгладимая черта.

Но не о том рассказ...

«Как холодно в поле, как голо...»

Как холодно в поле, как голо, И как безотрадны очам Убогие русские села (Особенно по вечерам). Изба под березой. Болото. По черным откосам ручьи. Невесело жить здесь, но кто-то Мне точно твердит — поживи! Недели, и зимы, и годы, Чтоб выплакать слезы тебе И выучиться у природы Ее безразличью к судьбе.

«Там, где-нибудь, когда-нибудь...»

3.Г.

Там, где-нибудь, когда-нибудь, У склона гор, на берегу реки, Или за дребезжащею телегой, Бредя привычно под косым дождем, Под низким, белым, бесконечным небом, Иль много позже, много, много дальше, Не знаю что, не понимаю как, Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно... Константин Дмитриевич



Константин Дмитриевич Бальмонт 1867–1942



Прощание с деревом

Я любил вознесенное сказками древо, На котором звенели всегда соловьи, А под древом раскинулось море посева, И шумели колосья, и пели ручьи.

Я любил переклички, от ветки до ветки, Легкокрылых, цветистых, играющих птиц. Были древние горы ему однолетки, И ровесницы — степи, и пряжа зарниц.

Я любил в этом древе тот говор вершинный, Что вещает пришествие близкой грозы, И шуршанье листвы перекатно-лавинной, И паденье заоблачной первой слезы.

Я любил в этом древе с ресницами Вия, Между мхами, старинного лешего взор. Это древо в веках называлось Россия, И на ствол его — острый наточен топор.

Узник

В соседнем доме Такой же узник, Как я, утративший Родимый край, — Крылатый, в клетке, Сердитый, громкий, Весь изумрудный Попугай.

Он был далёко, В просторном царстве Лесов тропических, Среди лиан, — Любил, качался, Летал, резвился, Зеленый житель Зеленых стран.

Он был уловлен, Свершил дорогу — От мест сияющих К чужой стране. В Париже дымном Свой клюв острит он В железной клетке На окне.

И о себе ли, И обо мне ли Он в размышлении, — Зеленый знак. Но только резко От дома к дому Доходит возглас: «Дурак! Дурак!»

9 октября 1920, Париж

Только

Ни радости цветистого Каира, Где по ночам напевен муэззин, Ни Ява, где живет среди руин, В Боро-Будур, Светильник Белый мира,

Ни Бенарес, где грозового пира Желает Индра, мча огнистый клин Средь тучевых лазоревых долин, Ни все места, где пела счастью лира,

Ни Рим, где слава дней еще жива, Ни имена, чей самый звук — услада, Тень Мекки, и Дамаска, и Багдада, —

Мне не поют заветные слова, И мне в Париже ничего не надо. Одно лишь слово нужно мне: *Москва*.

15 октября 1920

Париж

Она

В мгновенной прорези зарниц, В крыле перелетевшей птицы, В чуть слышном шелесте страницы, В немом лице, склоненном ниц,

В глазке лазурном незабудки, В веселом всклике ямщика, Когда качель саней легка На свеже-белом первопутке,

В мерцаньи восковой свечи, Зажженной трепетной рукою, В простых словах «Христос с тобою», Струящих кроткие лучи,

В глухой ночи, в зеленоватом Рассвете, истончившем мрак, И в петухах, понявших знак, Чтоб перепеться перекатом,

В лесах, где папоротник, взвив Свой веер, манит к тайне клада,— Она одна, другой не надо, Лишь ей, Жар-птицей, дух мой жив.

И все пройдя пути морские, И все земные царства дней, Я слово не найду нежней, Чем имя звучное: Россия. 8 ноября 1922

Париж

Верблюды

Прошли караваном верблюды, качая своими тюками. Нога на широком копыте в суставе сгибалась слегка. Изящна походка верблюда. Красивы верблюды с горбами. И смотрят глаза их далеко. Глядят на людей свысока. Когда же достигнут до цели, мгновенно сгибают колени. Как будто свершают молитву с сыновьим почтеньем к земле. Недвижны в песках изваянья. На золоте красные тени. Вот выбрызнут звезды по небу — ожившие угли в золе.

Полдень

Высокий полдень. Небо голубое. Лик ястреба, застывшего вверху. Вода ручья в журчащем перебое, Как бисер, нижет звонкий стих к стиху.

Среди листвы умолк малейший шепот. Мир — солнечный, а будто неживой. Лишь издали я слышу спешный топот, Куда-то мчится вестник верховой.

Откуда весть? Из памяти давнишней? Быть может, час — обратный начал ток? Я сплю. Я мертв. Я в этой жизни лишний. В гробу сплетаю четки мерных строк.

Но если я навек живыми, ныне, На дальней грани жизни позабыт, Ко мне стремится тень былой святыни, И ближе-ближе звонкий стук копыт.

Первозимье

Свертелся заяц в поле чистом, Беляк, на белом белый жгут. Мигает хвостиком пушистым, Сигает там, мелькает тут.

Он сказку заячью следами На первом снеге начертил — И шорк обмерзлыми кустами, И прыг в свой терем что есть сил.

Кричали гуси на деревне: «Окован пруд. Не плавать нам». И крякал селезень напевней: «Тепло в закуте. Там, там, там».

Свой голос не сгустив до лая, Дворняжка тявкает на снег. В нем зыбко лапы окуная, Игривый зачинает бег.

На елке галка скоком шалым Стряхнула с ветки бахрому И глазом сине-полинялым Глядит, что у людей в дому.

Горят все печи и печурки, До неба всходит белый дым. И бегом вещей сивки-бурки Несусь я к далям голубым. Тоски и мысли сверглась ноша, Душа открыта и чиста. Безгрешна первая пороша, Как подвенечная фата.

Медвяная тишь

Медвяная тишь от луны округлой и желтоогромной В сосновом лесу разлилась, дремотный безмолвствует бор. И только по самым верхам скользит ветерок неуемный, И между высоких вершин чуть слышный идет разговор.

Далёко родимая Мать от Волги глядит до Урала, От Белой волны на Закат, глядит чрез Алтай на Восток. Атлантика мне говорит, что ждать остается мне мало, К Родимой моей припаду, чуть только означится срок.

Здесь и там

Здесь гулкий Париж — и повторны погудки, Хотя и на новый, но ведомый лад. А там на черте бочагов — незабудки, И в чаще — давнишний алкаемый клад.

Здесь вихри и рокоты слова и славы, Но душами правит летучая мышь. Там в пряном цветеньи болотные травы, Безбрежное поле, бездонная тишь.

Здесь в близком и в точном — расчисленный разум, Чуть глянут провалы — он шепчет: «Засыпь!» Там стебли дурмана с их ядом и сглазом, И стонет в болотах зловещая выпь.

Здесь вежливо холодны к Бесу и к Богу, И путь по земным направляют звездам. Молю тебя, Вышний, построй мне дорогу Чтоб быть мне хоть мертвым в желаемом *Там*.

Я русский

Я русский, я русый, я рыжий, Под солнцем рожден и возрос. Не ночью. Не веришь? Гляди же В волну золотистых волос.

Я русский, я рыжий, я русый. От моря до моря ходил. Низал я янтарные бусы, Я звенья ковал для кадил.

Я рыжий, я русый, я русский. Я знаю и мудрость и бред. Иду я — тропинкою узкой, Приду — как широкий рассвет.

Осень

Я кликнул в поле. Глухое поле Перекликалось со мной на воле. А в выси мчались, своей долиной, Полет гусиный и журавлиный.

Там кто-то сильный, ударя в бубны, Раскинул свисты и голос трубный. И кто-то светлый раздвинул тучи, Чтоб треугольник принять летучий.

Кричали птицы к своим пустыням, Прощаясь с летом, серея в синем. А я остался в осенней доле — На сжатом, смятом, бесплодном поле.

Русь Северный венец

Только мы, северяне, сполна постигаем природу В полнозвучьи всех красок, и звуков, и разностей сил, И когда приближаемся к нашему Новому Году, Нам в морозную ночь загораются сонмы кадил.

Только мы усмотрели, что всё совершается в мире Совершенством разбега в раздельности линий Креста, Лишь у нас перемены — в своем нерушимом — четыре, Всеобъемная ширь, четырех тайнодейств полнота.

Не дождит нам зима, как у тех, что и осень и лето Не сумеют сполна отличить от зимы и весны. Наша белая быль в драгоценные камни одета, Наши Святки — душа, наша тишь — неземной глубины.

О, священная смерть в безупречном — чистейшей одежды, Ты являешь нам лик беспредельно-суровой зимы, Научая нас знать, что, когда замыкаются вежды, Воскресение ждет, — что пасхальны и вербы и мы.

Только Север узнал, как в душе полнозначна примета, И предпервую весть приближенья весенних огней Нам чирикнет снегирь, — красногрудый, поманит он лето, Мы расслышим весну — в измененных полозьях саней.

Переведались дни — через оттепель — с новым морозом, Зачернелась земля, глухариный окончился ток, И проломленный наст — это мост к подступающим грозам, В полюбивших сердцах разливается алый Восток.

Развернись, разбежись, расшумись, полноводная сила, Воля Волги, Оки и пропетого югом Днепра, Сколько звезд — столько птиц, и бескрайно колдует бродило. По лугам, по лесам, по степям — огневая игра.

Насладись, ощутив, как сверкают зарницы в рассудке, Захмелевшая кровь провещает свой сказ наизусть, И вздохни близ купав, и довей тишину к незабудке, И с кукушкой расслышь, как в блаженство вливается грусть.

Досказалась весна. Распалилась иная истома. Огнердеющий мак. Тайновеющий лес в забытьи. Полноцветное празднество молнии, таинство грома, Вся Россия — в раскатах телеги пророка Ильи.

Вся небесная высь — в полосе огневеющей гривы, В перебросе копыт, в перескоке и ржаньи коня. И серебряный дождь напоил золотистые нивы, В каждой травке — припев: «И меня, напои и меня!»

Что красивее колоса ржи в полноте многозерни? Что желанней душе, чем тяжелая важность снопа? Что прекрасней, чем труд? Или песня — его достоверней? Лишь работой, припавши к земле, наша мысль не слепа.

И опять оттолкнись от тебя обласкавшего праха, Посмотри, как простор углубился вблизи и вдали, Закурчавился ветер, летит, налетает с размаха, Улетают — с душой — далеко — за моря — журавли.

Разбросалась брусника. Развесились гроздья рябины. Многозаревный вечер последнее пламя дожег. Столько звезд в высоте, что, наверно, там в небе — смотрины. Новый выглянул серп. Завтра — первый перистый снежок.

Осень 1925

Вандея

Русский язык

Язык, великолепный наш язык. Речное и степное в нем раздолье, В нем клекоты орла и волчий рык, Напев и звон и ладан богомолья.

В нем воркованье голубя весной, Взлет жаворонка к солнцу — выше, выше. Березовая роща. Свет сквозной. Небесный дождь, просыпанный по крыше.

Журчание подземного ключа. Весенний луч, играющий по дверце. В нем Та, что приняла не взмах меча, А семь мечей — в провидящее сердце.

И снова ровный гул широких вод. Кукушка. У колодца молодицы. Зеленый луг. Веселый хоровод. Канун на небе. В черном — бег зарницы.

Костер бродяг за лесом, на горе, Про Соловья-разбойника былины. «Ау!» в лесу. Светляк в ночной поре. В саду осеннем красный грозд рябины.

Соха и серп с звенящею косой. Сто зим в зиме. Проворные салазки. Бежит савраска смирною рысцой. Летит рысак конем крылатой сказки. Пастуший рог. Жалейка до зари. Родимый дом. Тоска острее стали. Здесь хорошо. А там — смотри, смотри. Бежим. Летим. Уйдем. Туда. За дали.

Чу, рог другой. В нем бешеный разгул. Ярит борзых и гончих доезжачий. Баю-баю. Мой милый! Ты уснул? Молюсь. Молись. Не вечно неудачи.

Я снаряжу тебя в далекий путь. Из тесноты идут вразброд дороги. Как хорошо в чужих краях вздохнуть О нем — там, в синем — о родном пороге.

Подснежник наш всегда прорвет свой снег, В размах грозы сцепляются зарницы. К Царьграду не ходил ли наш Олег? Не звал ли в полночь нас полет Жар-птицы?

И ты пойдешь дорогой Ермака, Пред недругом вскричишь: «Теснее, други!» Тебя потопит льдяная река, Но ты в века в ней выплывешь в кольчуге.

Поняв, что речь речного серебра Не удержать в окованном вертепе, Пойдешь ты в путь дорогою Петра, Чтоб брызг морских добросить в лес и в степи.

Гремучим сновиденьем наяву Ты мысль и мощь сольешь в едином хоре, Венчая полноводную Неву С Янтарным морем в вечном договоре.

Ты клад найдешь, которого искал, Зальешь и запоешь умы и страны. Не твой ли он, колдующий Байкал, Где в озере под дном не спят вулканы?

Добросил ты свой гулкий табор-стан, Свой говор златозвонкий, среброкрылый — До той черты, где Тихий океан Заворожил подсолнечные силы.

Ты вскликнул: «Пушкин!» Вот он, светлый бог, Как радуга над нашим водоемом. Ты в черный час вместишься в малый вздох. Но Завтра — встанет! С молнией и громом!

3 июля 1924

Шатэлейон

Дюнные сосны

Взвихрены ветром горбатые дюны, Бор взгромоздился на выступ откосный. Ветер качает зеленые струны, Ветки поющие, терпкие сосны.

Голос безгласия, Север на Юге, Ветру покорствуя, редко немые, Те — перекручены в дикие дуги, Те — как у нас, безупречно-прямые.

В этих лесах не курчавится щебет Наших веселых играющих пташек. В зарослях ветер лишь вереск теребит, Нет здесь — знакомых нам с детства — ромашек.

Не закачается дружная стая Солнышек желтых и луночек белых, Пахнут лишь капли смолы, нарастая, Ладан цветет в ветрохвойных пределах.

Ландыш не глянет. Кукушка не стонет В час, как везде — хороводами вёсны. Ветер песчинки мятелями гонит, Медью трезвонит сквозь дюнные сосны.

Если б — «Ау!» — перекликнуться с лешим, С теми тенями, что век с нами юны... Грустные странники, чем себя тешим? Гусли нам — сосны, и ветки их — струны. Вся моя радость — к обветренным склонам Горько прильнуть, вспоминая и чая. Если б проснуться в лесу мне зеленом, Там, где кукует кукушка родная!

6 сентября 1926

Колодец

Сполна принявши в сердце жало, С зарей прощаясь золотой, Голубоглазая упала В колодец с чистою водой.

Колодец смертью был отравлен, Исчезла радость на пути. И людям властный знак был явлен От этой влаги отойти.

Ветвей зеленая завеса Сплелась над жуткою чертой. И тишь и чарованья леса Сошлись, колдуя, над водой.

И плесень выросла вдоль сруба, Закраину укутал мох. Но ветер, мчась и воя грубо, Роняет здесь чуть слышный вздох.

Устав с самим собой бороться, Узнав терзанию предел, Я был у этого колодца И поздней ночью в глубь глядел.

Я ждал и думал там, усталый, За мшистый перевесясь край. И чей-то голос запоздалый За лесом крикнул мне: «Прощай!»

Но в этой тишине зеленой Ждал голубой я тишины От нежно серебрящей склоны, От голубеющей луны.

Она всплыла, лазуря ели И серебря листву осин, И мнилось мне, что я недели, Что целый год я был один.

Но миг бывает предрассветный, На целый час весь мир замрет — Пред тем как, с жаждою предметной, Затеять бег и ткать черед.

И в этот миг всеединенья Ко мне с колодезного дна Качнулось белое виденье — Голубоглазая, она.

Как бы поднявшись на ступени, За край переступив ногой, Ко мне присела на колени И прошептала: «Милый мой!»

Она все звезды погасила, И в дымке бледной темноты В ее глазах дрожала сила, В них были синие цветы.

Мы с ней ласкались до рассвета, И вдруг растаяла она, Как в ночь июня тает лето, Поняв, что кончилась весна.

1922

«Средь птиц мне кондор всех милее...»

Средь птиц мне кондор всех милее: Летает в сини выше всех. Средь девушек — чей веселее Звенит, как колокольчик, смех.

Среди зверей, — их в мире много, Издревле вестников огня, — Люблю всегда любимца бога — Полетно-быстрого коня.

Средь рыб, что, в водах пропадая, Мелькают там и манят тут, Люба мне рыбка золотая: Вплывает в сказку, точно в пруд.

Среди деревьев — дуб зеленый, Чей сок струится янтарем. Из дуба строились драконы — В морях, где викинг был царем.

Среди цветов стройна лилея, Но в ландыш дух сильнее влит; Он чаровнически пьянее, И прямо в сердце он звонит.

Средь чувств люблю огонь любленья, В году желанна мне весна, Люблю средь вспышек — вдохновенье, Средь чистых сердцем — Куприна.

«Если зимний день тягучий...»

Если зимний день тягучий Заменила нам весна, Прочитай на этот случай Две страницы Куприна.

На одной найдешь ты зиму, На другой войдешь в весну. И «спасибо побратиму» — Сердцем скажешь Куприну.

Здесь, в чужбинных днях, в Париже, Затомлюсь, что я один, — И Россию чуять ближе Мне дает всегда Куприн.

Если я — как дух морозный, Если дни плывут, как дым, — Коротаю час мой грозный Пересмешкой с Куприным.

Если быть хочу беспечней И налью стакан вина, Чокнусь я всего сердечней Со стаканом Куприна.

Чиркнет спичкой он ли, я ли, — Две мечты плывут в огне, Курим мы — и нет печали, Чую брата в Куприне.

Так в России звук случайный, Шелест травки, гул вершин — Той же манят сердце тайной, Что несет в себе Куприн.

Это — мудрость верной силы, В самой буре — тишина. Ты — родной и всем нам милый, Все мы любим Куприна.

6 мая 1923

Косогор

Как пойду я на далекий косогор, Как взгляну я на беду свою в упор, Придорожные ракиты шелестят, Пил я счастье, вместе с медом выпил яд.

Косогорная дорога вся видна, Уснежилася двойная косина, А на небе месяц ковшиком горит, Утлый месяц сердцу лунно говорит:

«Где всё стадо, опрометчивый пастух? Ты не пил бы жарким летом летний дух, Ты овец бы в час, как светит цветик-ал, Звездным счетом всех бы зорко сосчитал.

Ты забыл, войдя в минуты и часы, Что конец придет для всякой полосы, Ты вдыхал, забывши всякий смысл и срок, Изумительный, пьянительный цветок.

Ты забыл, что для всего везде черед, Что цветущее наверно отцветет, И когда пожар далекий запылал, Любовался ты, как светит цветик-ал.

Не заметил ты, как стадо всё ушло, Как сгорело многолюдное село, Как зарделись ярким пламенем леса, Как дордела и осенняя краса. И остался ты один с собою сам, Зашумели волчьи свадьбы по лесам, И теперь, всю силу месяца лия, Я пою тебе, остря свои края».

Тут завеяли снежинки предо мной, Мир, как саваном, был полон белизной, Только в дальности, далеко от меня, Близко к земи ярко тлела головня. Это месяц ли на небе, на краю? Это сам ли я судьбу свою пою? Это вьюга ли, прядя себе убор, Завела меня, крутясь, на косогор?

Декабрь 1932



Иван Алексеевич Бунин 1870–1953



Во полунощи

В сосудах тонких и прозрачных Сквозит елей, огни горят. Жених идет в одеждах брачных. Невесты долу клонят взгляд.

И льется трепет серебристый На лица радостные их:
— Благословенный и пречистый! Взойди в приют рабынь твоих!

Не много нас, елей хранивших Для тьмы, обещанной тобой. Не много верных, не забывших, Что встанет день над этой тьмой!

(2 сентября 1914 — сентябрь 1919)

«Высокий белый зал, где черная рояль...»

Высокий белый зал, где черная рояль Дневной холодный свет, блистая, отражает, Княжна то жалобой, то громом оглашает, Ломая туфелькой педаль.

Сестра стоит в диванной полукруглой, Глядит с улыбкою насмешливо-живой, Как пишет лицеист, с кудрявой головой И с краской на лице, горячею и смуглой.

Глаза княжны не сходят с бурных нот, Но что гремит рояль — она давно не слышит, Весь мир в одном: «Он ей в альбомы пишет!» — И жалко искривлен дрожащий, сжатый рот.

(IX. 1919)

Звезда морей, Мария

На диких берегах Бретани Бушуют зимние ветры. Пустуют в ветре и тумане Рыбачьи черные дворы.

Печально поднят лик Мадонны В часовне старой. Дождь сечет. С ее заржавленной короны На ризу белую течет.

Единая, земному горю Причастная! Ты, что дала Свое святое имя Морю! Ночь тяжела для нас была.

Огнями звездными над нами Пылал морозный ураган. Крутыми черными волнами Ходил гудящий океан.

Рукой, от стужи онемелой, Я правил парус корабля. Но ты сама, в одежде белой, Сошла и стала у руля.

И креп я духом, маловерный, И в блеске звездной синевы Туманный нимб, как отблеск серный, Сиял округ твоей главы.

Изгнание

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан...
Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?
Гляжу вперед на черное распятье
Среди дорог —
И простирает скорбные объятья
Почивший Бог.

Бретань, 1920

Канарейка

На родине она зеленая...

Брэм

Канарейку из-за моря Привезли, и вот она Золотая стала с горя, Тесной клеткой пленена. Птицей вольной, изумрудной Уж не будешь — как ни пой Про далекий остров чудный Над трактирною толпой!

10. V.21

«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...»

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому, Когда я уходил с отцовского двора, Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. Как бьется сердце, горестно и громко, Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом С своей уж ветхою котомкой!

25. VI. 22

Сириус

Где ты, звезда моя заветная, Венец небесной красоты? Очарованье безответное Снегов и лунной высоты?

Где молодость простая, чистая, В кругу любимом и родном, И старый дом, и ель смолистая В сугробах белых под окном?

Пылай, играй стоцветной силою, Неугасимая звезда, Над дальнею моей могилою, Забытой Богом навсегда!

22. VIII. 22

«И вновь морская гладь бледна...»

И вновь морская гладь бледна
Под звездным благостным сияньем,
И полночь теплая полна
Очарованием, молчаньем —
Как, Господи, благодарить
Тебя за все, что в мире этом
Ты дал мне видеть и любить
В морскую ночь, под звездным светом!

Засыпая, в ночь с 24 на 25. VIII.22

«Все снится мне заросшая травой...»

Все снится мне заросшая травой, В глуши далекой и лесистой, Развалина часовни родовой. Все слышу я, вступая в этот мшистый Приют церковно-гробовой, Все слышу я: «Оставь их мир нечистый Для тишины сей вековой! Меч нашей славы, меч священный Сними с бедра, — он лишний в эти дни, В твой век, бесстыдный и презренный. Перед Распятым голову склони В знак обручения со схимой, С затвором меж гробами — и храни Обет в душе ненарушимо».

27. VIII.22

Петух на церковном кресте

Плывет, течет, бежит ладьей, И как высоко над землей! Назад идет весь небосвод, А он вперед — и все поет.

Поет о том, что мы живем, Что мы умрем, что день за днем Идут года, текут века — Вот как река, как облака.

Поет о том, что все обман, Что лишь на миг судьбою дан И отчий дом, и милый друг, И круг детей, и внуков круг,

Что вечен только мертвых сон, Да божий храм, да крест, да он.

12. IX. 22

Амбуаз

«Что впереди? Счастливый долгий путь...»

Что впереди? Счастливый долгий путь. Куда-то вдаль спокойно устремляет Она глаза, а молодая грудь Легко и мерно дышит и чуть-чуть Воротничок от шеи отделяет — И чувствую я слабый аромат Ее волос, дыхания — и чую Былых восторгов сладостный возврат... Что там, вдали? Но я гляжу, тоскуя, Уж не вперед, нет, я гляжу назад.

15. IX. 22

«Опять холодные седые небеса...»

«Опять холодные седые небеса, Пустынные поля, набитые дороги, На рыжие ковры похожие леса, И тройка у крыльца, и слуги на пороге...»

— Ах, старая наивная тетрадь!
Как смел я в те года гневить печалью Бога?
Уж больше не писать мне этого «опять»
Перед счастливою осеннею дорогой!

7. VI.23

«Только камни, пески, да нагие холмы...»

Только камни, пески, да нагие холмы, Да сквозь тучи летящая в небе луна, — Для кого эта ночь? Только ветер, да мы, Да крутая и злая морская волна.

Но и ветер — зачем он так мечет ее? И она — отчего столько ярости в ней? Ты покрепче прижмись ко мне, сердце мое! Ты мне собственной жизни милей и родней.

Я и нашей любви никогда не пойму: Для чего и куда увела она прочь Нас с тобой ото всех в эту буйную ночь? Но Господь так велел — и я верю ему.

(1926)

«Земной, чужой душе закат!..»

Земной, чужой душе закат! В зеленом небе алым дымом Туманы легкие летят Над молчаливым зимним Крымом.

Чужой, тяжелый Чатырдах! Звезда мелькает золотая В зеленом небе, в облаках, — Кому горит она, блистая?

Она горит душе моей, Она зовет, — я это знаю С первоначальных детских дней, — К иной стране, к родному краю!

Отрывок

Старик с серьгой, морщинистый и бритый, Из красной шерсти вязаный берет, Шлыком висящий на ухо сто лет, Опорки, точно старые копыта, Рост полтора аршина, гнутый стан, Взгляд исподлобья, зоркий и лукавый, — Мила мне глушь сицилиан, Патриархальные их нравы.

Вот темный вечер, буря, дождь, а он Бредет один, с холодным ветром споря, На дальний мол, под хмурый небосклон, К необозримой черни моря. Слежу за ним, и странная тоска Томит меня: я мучаюсь мечтами, Я думаю о прошлом старика, О хижинах под этими хребтами, В скалистой древней гавани, куда Я занесен, быть может, навсегда...

Портрет

Бродя по залам, чистым и пустым, Спокойно озаренным бледным светом, Кто пред твоим блистающим портретом Замедлит шаг? Кто будет золотым Восхищен сном, ниспосланным судьбою В жизнь давнюю, прожитую тобою? — Кто б ни был он, познаешь ты, поэт, С грядущим другом радость единенья В стране, где нет ни горести, ни тленья, А лишь нерукотворный твой Портрет!

«Уж ветер шарит по полю пустому...»

Уж ветер шарит по полю пустому, Уж завернули холода, И как отрадно на сердце, когда Идешь к своей усадьбе, к дому, В студеный солнечный закат. А струны телеграфные (гудят) В лазури водянистой, и рядами На них молоденькие ласточки сидят. Меж тем как тучи дикими хребтами Зимою с севера грозят! Как хорошо помедлить на пороге Под этим солнцем, уж скупым,—И улыбнуться радостям былым Без сожаленья и тревоги!

«Ночью, в темном саду, постоял вдалеке...»

Ночью, в темном саду, постоял вдалеке, Посмотрел в мезонин освещенный: Вот ушла... вот вернулась — уже налегке И с косой на плече, заплетенной.

«Вспомни прежнее! Вспомни, как тут...» Не спеша, лишь собой занятая, Потушила огонь... И поют, И поют соловьи, изнывая.

Темен дом, полночь в тихом саду. Помолись под небесною бездной, На заветную глядя звезду В белой россыпи звездной.

16. X. 38

«Ты жила в тишине и покое...»

Ты жила в тишине и покое. По старинке желтели обои, Мелом низкий белел потолок, И глядело окно на восток.

Зимним утром, лишь солнце всходило, У тебя уже весело было: Свет горячий слепит на полу, Печка жарко пылает в углу.

Книги в шкапе стояли, в порядке На конторке лежали тетрадки, На столе сладко пахли цветы... «Счастье жалкое!» — думала ты.

18. X. 38

«Один я был в полночном мире...»

Один я был в полночном мире, — Я до рассвета не уснул. Слышней, торжественней и шире Шел моря отдаленный гул.

Один я был во всей вселенной, Я был как Бог ее — и мне, Лишь мне звучал тот довременный Глас бездны в гулкой тишине.

6. XI. 38

«И снова ночь, и снова под луной...»

И снова ночь, и снова под луной Степной обрыв, пустынный и волнистый, И у прибрежья тускло-золотистый Печальный блеск, играющий с волной, И снова там, куда течет, струится, Все ширясь, золотая полоса, Где под луной так ясны небеса, Могильный холм из сумрака круглится.

«Ночь и дождь, и в доме лишь одно...»

Ночь и дождь, и в доме лишь одно Светится в сырую тьму окно, И стоит, молчит гнилой, холодный дом, Точно склеп на кладбище глухом, Склеп, где уж давно истлели мертвецы, Прадеды, и деды, и отцы, Где забыт один слепой ночник И на лавке в шапке спит старик, Переживший всех господ своих, Друг, свидетель наших дней былых.

Ночью, засыпая

Венки

Был праздник в честь мою, и был увенчан я Венком лавровым, изумрудным: Он мне студил чело, холодный, как змея, В чертоге пирном, знойном, людном.

Жду нового венка — и помню, что сплетен Из мирта темного он будет: В чертоге гробовом, где вечный мрак и сон, Он навсегда чело мое остудит.

(1950)

Ночь

Ледяная ночь, мистраль (Он еще не стих). Вижу в окна блеск и даль Гор, холмов нагих. Золотой недвижный свет До постели лег. Никого в подлунной нет, Только я да Бог. Знает только он мою Мертвую печаль, То, что я от всех таю... Холод, блеск, мистраль.

1952



Зинаида Николаевна Гиппиус 1869–1945



Mepa

Всегда чего-нибудь нет, — Чего-нибудь слишком много... На все как бы есть ответ — Но без последнего слога.

Свершится ли что — не так, Некстати, непрочно, зыбко... И каждый не верен знак, В решенье каждом — ошибка.

Змеится луна в воде — Но лжет, золотясь, дорога... Ущерб, перехлест везде. А мера — только у Бога.

Женскость

Падающие, падающие линии... Женская душа бессознательна, Много ли нужно ей?

Будьте же, как буду отныне я, К женщине тихо-внимательны, И ласковей, и нежней.

Женская душа — пустынная. Знает ли, какая холодная, Знает ли, как груба?

Утешайте же душу невинную, Обманите, что она свободная... Все равно она будет раба.

За что?

Качаются на луне Пальмовые перья. Жить хорошо ли мне, Как живу теперь я?

Ниткой золотой светляки Пролетают, мигая. Как чаша, полна тоски Душа — до самого края.

Морские дали — поля Бледно-серебряных лилий... Родная моя земля, За что тебя погубили?

Когда?

В церкви пели «Верую», весне поверил город. Зажемчужилась арка серая, засмеялись рои моторов. Каштаны веточки тонкие в мартовское небо тянут. Как веселы улицы звонкие в желтой волне тумана. Жемчужьтесь, стены каменные, марту, ветки, верьте... Отчего у меня такое пламенное желание — смерти? Такое пристальное, такое сильное, как будто сердце готово. Сквозь пенье автомобильное не слышит ли сердца зова?

Господи! Иду в неизвестное, но пусть оно будет родное. Пусть мне будет небесное такое же, как земное...

Игра

Совсем не плох и спуск с горы: Кто бури знал, тот мудрость ценит. Лишь одного мне жаль: игры... Ее и мудрость не заменит.

Игра загадочней всего И бескорыстнее на свете. Она всегда — ни для чего, Как ни над чем смеются дети.

Котенок возится с клубком, Играет море в постоянство... И всякий ведал — за рулем — Игру бездумную с пространством.

Играет с рифмами поэт, И пена — по краям бокала... А здесь, на спуске, разве след — След от игры остался малый.

Пускай! Когда придет пора И все окончатся дороги, Я об игре спрошу Петра, Остановившись на пороге.

И если нет игры в раю, Скажу, что рая не приемлю. Возьму опять суму мою И снова попрошусь на землю.

Сложности

К простоте возвращаться — зачем? Зачем — я знаю, положим, Но дано возвращаться не всем. Такие, как я, не можем.

Сквозь колючий кустарник иду, Он цепок, мне не пробиться... Но пускай упаду, До второй простоты не дойду, Назад — нельзя возвратиться.

«Петроград»

Кто посягнул на детище Петрово? Кто совершенное деянье рук Смел оскорбить, отняв хотя бы слово, Смел изменить хотя б единый звук?

Не мы, не мы... Растерянная челядь, Что, властвуя, сама боится нас! Все мечутся, да чьи-то ризы делят, И все дрожат за свой последний час.

Изменникам измены не позорны. Придет отмщению своя пора... Но стыдно тем, кто, весело-покорны, С предателями предали Петра.

Чему бездарное в вас сердце радо? Славянщине убогой? Иль тому, Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо Крикливо льнет, как будто к своему?

Но близок день — и возгремят перуны... На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей! Восстанет он, все тот же, бледный, юный, Все тот же — в ризе девственных ночей,

Во влажном визге ветреных раздолий И в белоперистости вешних пург, — Созданье революционной воли — Прекрасно-страшный Петербург!

Тли

Припав к моему изголовью, ворчит, будто выстрелы, тишина; запекшейся черною кровью ночная дыра полна.

Мысли капают, капают скупо, нет никаких людей... Но не страшно... И только скука, что кругом — все рыла тлей.

Тли по мартовским алым зорям прошли в гвоздевых сапогах. Душа на ключе, на тяжком запоре, отврат... тошнота... но не страх.

28-29 октября 17. Ночью.

Веселье

Блевотина войны — октябрьское веселье! От этого зловонного вина Как было омерзительно твое похмелье, О бедная, о грешная страна!

Какому дьяволу, какому псу в угоду, Каким кошмарным обуянный сном, Народ, безумствуя, убил свою свободу, И даже не убил — засек кнутом?

Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, Смеются пушки, разевая рты... И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, Народ, не уважающий святынь!

29 октября 17.

Сейчас

Как скользки улицы отвратные, Какая стыдь! Как в эти дни невероятные Позорно жить!

Лежим, заплеваны и связаны По всем углам. Плевки матросские размазаны У нас по лбам.

Столпы, радетели, водители Давно в бегах. И только вьются согласители В своих Це-ках.

Мы стали псами подзаборными, Не уползти! Уж разобрал руками черными Викжель — пути...

9 ноября 17.

У. С

Наших дедов мечта невозможная, Наших героев жертва острожная, Наша молитва устами несмелыми, Наша надежда и воздыхание,— Учредительное Собрание,— Что мы с ним сделали..?

12 ноября 17.

14 декабря. 17 года

Д. Мережковскому

Простят ли чистые герои? Мы их завет не сберегли. Мы потеряли все святое: И стыд души, и честь земли.

Мы были с ними, были вместе, Когда надвинулась гроза. Пришла Невеста. И невесте Солдатский штык проткнул глаза.

Мы утопили, с визгом споря, Ее в чану Дворца, на дне, В незабываемом позоре И в наворованном вине.

Ночная стая свищет, рыщет, Лед по Неве кровав и пьян... О, петля Николая чище, Чем пальцы серых обезьян!

Рылеев, Трубецкой, Голицын! Вы далеко, в стране иной... Как вспыхнули бы ваши лица Перед оплеванной Невой!

И вот из рва, из терпкой муки, Где по дну вьется рабий дым, Дрожа протягиваем руки Мы к вашим саванам святым.

К одежде смертной прикоснуться, Уста сухие приложить, Чтоб умереть — или проснуться, Но так не жить! Но так не жить!

Боятся

Щетинятся сталью, трясясь от страха, Залезли за пушки, примкнули штык, Но бегает глаз под серой папахой, Из черного рта — истошный рык... Присел, но взгудел, отпрянул кошкой. А любо! Густа темь на дворе! Скользнули пальцы, ища застежку, По смуглым пятнам на кобуре... Револьвер, пушка, ручная граната ль, — Добру своему ты господин. Иди, выходи же, заячья падаль! Ведь я безоружен! Я один! Да крепче винти, завинчивай гайки. Нацелься... Жутко? Дрожит рука? Мне пуля — на миг... А тебе нагайки, Тебе хлысты мои — на века!

12 января 18.

Нет

Она не погибнет, — знайте! Она не погибнет, Россия. Они всколосятся, — верьте! Поля ее золотые. И мы не погибнем, — верьте! Но что нам наше спасенье: Россия спасется, — знайте! И близко ее воскресенье.

Февр. 18.



Дон Аминадо 1888–1957



1917

Какой звезды сиял нам свет? На утре дней, в истоках лет, Больших дорог минуя стык, Куда нас мчал лихой ямщик?

Одним черед. Другим черед. За взводом взвод. И — взвод, вперед! Теплушек смрад, махорки дым. Черед одним. Черед другим.

Один курган. Другой курган. А в мире ночь. Седой туман. Протяжный вой. Курганов цепь. Метель. Пурга. Татары. Степь.

Эпилог

В сердце тоска. Сомнение. Тревога. Худые призраки толпятся у порога. Проходят дни без смысла и следа. Во тьме ночей, в пространствах и туманах На всех наречиях, гудящих и гортанных, Перекликаются большие города. Сигналы бедствия пылают на утесах. И ворон каркает. И жен простоволосых Протяжный вой нам сердце леденит. Над морем гаснут звезды Водолея, И где-то горько плачет Лорелея И головою бьется о гранит.

Города и годы

Старый Лондон пахнет ромом, Жестью, дымом и туманом. Но и этот запах может Стать единственно желанным.

Ослепительный Неаполь, Весь пронизанный закатом, Пахнет мулями и слизью, Тухлой рыбой и канатом.

Город Гамбург пахнет снедью, Лесом, бочками, и жиром, И гнетущим, вездесущим, Знаменитым добрым сыром.

А Севилья пахнет кожей, Кипарисом и вербеной, И прекрасной чайной розой, Несравнимой, несравненной.

Вечных запахов Парижа Только два. Они все те же: Запах жареных каштанов И фиалок запах свежий.

Есть чем вспомнить в поздний вечер, Когда мало жить осталось, То, чем в жизни этой бренной Сердце жадно надышалось!..

Но один есть в мире запах, И одна есть в мире нега: Это русский зимний полдень, Это русский запах снега.

Лишь его не может вспомнить Сердце, помнящее много. И уже толпятся тени У последнего порога.

Люблю декабрь...

Люблю декабрь за призраки былого, За все, что было в жизни дорогого И милого, бессмысленного вновь. За этот снег, что падал и кружился, За вещий сон, который сладко снился, Как снится нам последняя любовь.

Не все ль равно? Под всеми небесами Какой-то мир мы выдумали сами И жили в нем, в видениях, в мечтах, Играя чувствами, которых не бывает, Взыскуя нежности, которой мир не знает, Стремясь к бессмертию и падая во прах.

Придет декабрь... Озябшие, чужие, Поймем ли мы, почувствуем впервые, Что нас к себе никто не позовет? Что будет елка, ангел со звездою И Дед Мороз с седою бородою, Волшебный принц и коврик-самолет.

И только нас на празднике не будет. Холодный ветр безрадостно остудит Усталую и медленную кровь, И будет снег над городом кружиться, И, может быть, нам... наша жизнь приснится, Как снится нам последняя любовь.

Послесловие

Жили. Были. Ели. Пили. Воду в ступе толокли. Вкруг да около ходили. Мимо главного прошли.

Исповедь

Милостивые государи, Блеск и цвет поколения! Признаемся честно В порыве откровения:

Зажглась наша молодость Свечой ярого воска, А погибла наша молодость, Пропала, как папироска.

В Европе и Америке Танцевали и пели — Так, что стены дрожали, Так, что стекла звенели;

А мы спорили о боге, Надрывали глотки, Попадали в итоге За железные решетки,

От всех семи повешенных Берегли веревки, Радовались, что Шаляпин Ходит в поддевке,

Девушек не любили — Находили, что развратно, — До изнеможения ходили В народ и обратно;

Потом... То, чего не было, Стало тем, что бывает. Кто любит воспоминания, Пусть вспоминает.

Развеялся во все стороны Наш прах неизбывно. Не клюют его даже вороны, Потому что им противно.

Искания

Какая-то личность в простом пиджаке Вошла на трибуну с тетрадкой в руке, Воды из графина в стакан налила И сразу высокую ноту взяла.

И так и поставила тему ребром:
— Куда мы идем? И зачем мы идем?
И сорок минут говорила подряд,
Что все мы идем, очевидно, назад.

Но было всем лестно, что всем по пути, И было приятно, что если идти, То можно идти, не снимая пальто, Которые снять и не думал никто.

И вышли, вдыхая осеннюю слизь, И долго прощались, пока разошлись. И, в сердце святую лелея мечту, Шагали и мокли на славном посту.

Когда мы вспомним

Никто не знал предназначенья, И дар любви нам был вручен, И в страшной жажде расточенья И этот дар был расточен.

Но кто за нежность нас осудит, Казнит суровостью в раю? И что в сей жизни главным будет, Когда мы вспомним жизнь свою?

Уездная сирень

Как рассказать минувшую весну, Забытую, далекую, иную, Твое лицо, прильнувшее к окну, И жизнь свою, и молодость былую?..

Была весна, которой не вернуть... Коричневые, голые деревья. И полых вод особенная муть, И радость птиц, меняющих кочевья.

Апрельский холод. Серость. Облака. И ком земли, из-под копыт летящий, И этот темный глаз коренника, Испуганный, и влажный, и косящий.

О, помню, помню!.. Рявкнул паровоз. Запахло мятой, копотью и дымом. Тем запахом, волнующим до слез, Единственным, родным, неповторимым.

Той свежестью набухшего зерна И пыльною уездною сиренью, Которой пахнет русская весна, Приученная к позднему цветенью.

Воспоминание

Утро. Станция. Знакомый С детских лет телеграфист. От сирени дух истомный. Воздух нежен. Воздух чист. В небе легкой акварели Полутон и полудым. Хорошо любить в апреле, Хорошо быть молодым. Возвращаться на побывку, Гнать ленивца ямщика. Ради Бога, ткни ты сивку В запотевшие бока! Пахнут запахом медвяным Бесконечные поля. Дымом синим, паром пьяным Испаряется земля. Сердце бешеное бьется. В горле сладостный комок. А над полем вьется, вьется Еле видимый дымок! Вот откос знакомой крыши. Дорогой и милый дом. Сердце, тише! Тише! Тише! — Стой... Направо... За углом. Там в саду скрипят качели, Выше! В небо! И летим... Хорошо любить в апреле, Хорошо быть молодым. Как вас звали?! Катей? Олей? Натой? Татой? Или — нет? Помню только небо, солнце, Золотой весенний свет, Скрип качелей, дух сирени, Дым, плывущий над землей, И как двадцать вознесений,

Двадцать весен за спиной!

Как рассказать?

1

Как объяснишь им чувство это И как расскажешь на словах — Тревогу зимнего рассвета На петербургских островах,

Когда, замучившись, несется Шальная тройка поутру. Когда, отстегнутая, бьется Медвежья полость на ветру?

Как рассказать им день московский, И снежный прах, и блеск слюды, И парк Петровско-Разумовский, И Патриаршие пруды,

И на облупленных карнизах, На тусклом золоте церквей Зобастых, серых, белых, сизых, Семью арбатских голубей?

Сидят в метро. Молчат сурово. Эксцельсиор читают свой... И нет им дела никакого До хрестоматии чужой.

Как рассказать им чувство это, Как объяснить в простых словах Тревогу зимнего рассвета На петербургских островах,

Когда, замучившись, несется Шальная тройка поутру, Когда, отстегнутая, бьется Медвежья полость на ветру,

И пахнет влагой, хвоей, зверем... И за верстой верста бежит, А мы, глупцы, орем и верим, Что мир лишь нам принадлежит.

Бабье лето

Нет даже слова такого В толстых чужих словарях. Август. Ущерб. Увяданье. Милый, единственный прах.

Русское лето в России. Запахи пыльной травы. Небо какой-то старинной, Темной, густой синевы.

Утро. Пастушья жалейка. Поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка Шла из Парижа в Елец...

Потонувший колокол

Ночью был ветер. Стучало и звякало. Стоном стонало в верхушках осин. Где-то в трубе причитало и плакало, Прямо как в повести «Домби и сын».

Вдруг захотелось поленьев березовых, Кафельной печки... Чтоб снег пеленой Сыпал за окнами дома Морозовых. Помните... там, на Тверской... На Ямской...



Георгий Владимирович Иванов 1894–1958



«Я не хочу быть куклой восковой...»

Я не хочу быть куклой восковой, Добычей плесени, червей и тленья, Я не хочу могильною травой Из мрака пробиваться сквозь каменья. Над белым кладбищем сирень цветет, Над белым кладбищем заря застыла, И я не вздрогну, если скажут: «Вот Георгия Иванова могила...» И если ты — о нет, я не хочу — Придешь сюда, ты принесешь мне розы, Ты будешь плакать — я не отличу От ветра и дождя слова и слезы.

«Зеленою кровью дубов и могильной травы...»

Зеленою кровью дубов и могильной травы Когда-нибудь станет любовников томная кровь, И ветер, что им шелестел при разлуке: «Увы», Увы, прошумит над другими влюбленными вновь.

Прекрасное тело смешается с горстью песка, И слезы в родной океан возвратятся назад... — Моя дорогая, над нами бегут облака. Звезда зеленеет, и черные ветки шумят!

Зачем же тогда веселее земное вино И женские губы целуют хмельней и нежней При мысли, что вскоре рассеяться нам суждено Летучею пылью, дождем, колыханьем ветвей...

«Охотник веселый прицелился...»

Охотник веселый прицелился, И падает птица к ногам, И дым исчезающий стелется По выцветшим низким лугам.

Заря розовеет болотная, И в синем дыму, не спеша, Уносится в небо бесплотная, Бездомная птичья душа.

А что в человеческой участи Прекраснее участи птиц, Помимо холодной певучести Немногих заветных страниц?

«Это качается сосна...»

Это качается сосна И убаюкивает слух. Это последняя весна Рассеивает первый пух.

Я жил, и стало грустно мне Вдруг, неизвестно отчего. Мне стало страшно в тишине Биенья сердца моего.

«С пышно развевающимся флагом...»

С пышно развевающимся флагом, Точно броненосец по волнам, Точно робот, отвлеченным шагом Музыка пошла навстречу нам.

Неохотно, не спеша, не сразу, Прозревая, но еще слепа, — Повинуется ее приказу Чинно разодетая толпа.

Все спокойно. Декольте и фраки, Сдержанно, как на большом балу, Слушают в прозрачном полумраке Смерти ли бессмертную хвалу.

Только в ложе молодая дама Вздрогнула — и что-то поняла. Поздно... Мертвые не имут срама И не знают ни добра, ни зла!

Поздно... Слейся с мировою болью. Страшно жить, страшнее умереть... Холодно. И шубкою собольей Зябнувшего сердца не согреть.

«Паспорт мой сгорел когда-то...»

Паспорт мой сгорел когда-то В буреломе русских бед. Он теперь дымок заката, Шорох леса, лунный свет.

Он давно в помойной яме Мирового горя сгнил И теперь скользит с ручьями В полноводный, вечный Нил.

Для непомнящих Иванов, Не имеющих родства, Все равно, какой Иванов, Безразлично— трын-трава.

......

Красный флаг или трехцветный? Божья воля или рок? Не ответит безответный Предрассветный ветерок.

«Здесь в лесах даже розы цветут...»

Здесь в лесах даже розы цветут, Даже пальмы растут — вот умора! Но как странно — во Франции, тут, Я нигде не встречал мухомора.

Может быть, просто климат не тот — Мало сосен, березок, болотца... Ну, а может быть, он не растет, Потому что ему не растется.

С той поры, с той далекой поры — ...Чахлый ельник. Балтийское море, Тишина, пустота, комары, Чья-то кровь на кривом мухоморе...

«Я научился понемногу...»

Я научился понемногу Шагать со всеми — рядом, в ногу. По пустякам не волноваться И правилам повиноваться.

Встают — встаю. Садятся — сяду. Стозначный помню номер свой. Лояльно благодарен Аду За звездный кров над головой...

«Рассказать обо всех мировых дураках...»

Рассказать обо всех мировых дураках, Что судьбу человечества держат в руках?

Рассказать обо всех мертвецах-подлецах, Что уходят в историю в светлых венцах? Для чего? Тишина под парижским мостом. И какое мне дело, что будет потом.

«А люди? Ну на что мне люди?..»

А люди? Ну на что мне люди? Идет мужик, ведет быка. Сидит торговка: ноги, груди, Платочек, круглые бока.

Природа? Вот она природа — То дождь и холод, то жара. Тоска в любое время года, Как дребезжанье комара.

Конечно, есть и развлеченья: Страх бедности, любви мученья, Искусства сладкий леденец, Самоубийство, наконец.

«Если бы жить... Только бы жить...»

Если бы жить... Только бы жить... Хоть на литейном заводе служить.

Хоть углекопом с тяжелой киркой, Хоть бурлаком над Великой Рекой.

«Ухнем, дубинушка...» Все это сны. Руки твои ни на что не нужны.

Этим плечам ничего не поднять. Нечего, значит, на Бога пенять.

Трубочка есть. Водочка есть, Всем в кабаке одинакова честь!

«Все чаще эти объявленья...»

Все чаще эти объявленья: Однополчане и семья Вновь выражают сожаленья... «Сегодня ты, а завтра я!»

Мы вымираем по порядку — Кто поутру, кто вечерком И на кладбищенскую грядку Ложимся, ровненько, рядком.

Невероятно до смешного: Был целый мир — и нет его...

Вдруг — ни похода ледяного, Ни капитана Иванова, Ну, абсолютно ничего!

«Черная кровь из открытых жил...»

Черная кровь из открытых жил, И ангел, как птица, крылья сложил.

Это было на слабом, весеннем льду В девятьсот двадцатом году.

Дай мне руку, иначе я упаду — Так скользко на этом льду.

Над широкой Невой догорал закат, Цепенели дворцы, чернели мосты —

Это было тысячу лет назад, Так давно, что забыла ты.

«Я люблю эти снежные горы...»

Я люблю эти снежные горы
На краю мировой пустоты.
Я люблю эти синие взоры,
Где, как свет, отражаешься ты.
Но в бессмысленной этой отчизне
Я понять ничего не могу.
Только призраки молят о жизни,
Только розы цветут на снегу,
Только линия вьется кривая,
Торжествуя над снежно-прямой,
И шумит чепуха мировая,
Ударяясь в гранит мировой.

«Мелодия становится цветком...»

Мелодия становится цветком, Он распускается и осыпается, Он делается ветром и песком, Летящим на огонь весенним мотыльком, Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет, И перевоплощается мелодия В тяжелый взгляд, в сиянье эполет, В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие», В корнета гвардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу. — Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу, Серебряными шпорами звеня.

«Нет в России даже дорогих могил...»

Роману Гулю

Нет в России даже дорогих могил, Может быть, и были — только я забыл. Нету Петербурга, Киева, Москвы — Может быть, и были, да забыл, увы.

Ни границ не знаю, ни морей, ни рек. Знаю — там остался русский человек. Русский он по сердцу, русский по уму, Если я с ним встречусь, я его пойму.

Сразу, с полуслова... И тогда начну Различать в тумане и его страну.

«Иду — и думаю о разном...»

Иду — и думаю о разном, Плету на гроб себе венок, И в этом мире безобразном Благообразно одинок.

Но слышу вдруг: война, идея, Последний бой, двадцатый век. И вспоминаю, холодея, Что я уже не человек,

А судорога идиота, Природой созданная зря — «Урра!» из пасти патриота, «Долой!» из глотки бунтаря.

«Свободен путь под Фермопилами...»

Свободен путь под Фермопилами На все четыре стороны. И Греция цветет могилами, Как будто не было войны.

А мы — Леонтьева и Тютчева Сумбурные ученики — Мы никогда не знали лучшего, Чем праздной жизни пустяки.

Мы тешимся самообманами, И нам потворствует весна, Пройдя меж трезвыми и пьяными, Она садится у окна.

«Дыша духами и туманами, Она садится у окна». Ей за морями-океанами Видна блаженная страна:

Стоят рождественские елочки, Скрывая снежную тюрьму. И голубые комсомолочки, Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами, С одной — стихи, с другой — жених. ...И Леонид под Фермопилами, Конечно, умер и за них.

«Мне весна ничего не сказала...»

Мне весна ничего не сказала — Не могла. Может быть, — не нашлась. Только в мутном пролете вокзала Мимолетная люстра зажглась.

Только кто-то кому-то с перрона Поклонился в ночной синеве, Только слабо блеснула корона На несчастной моей голове.

«Было все — и тюрьма, и сума...»

Было все — и тюрьма, и сума. В обладании полном ума, В обладании полном таланта, С распроклятой судьбой эмигранта Умираю...

«Распыленный мильоном мельчайших частиц...»

И. Одоевцевой

Распыленный мильоном мельчайших частиц, В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире, Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц, Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире.

И опять, в романтическом Летнем Саду, В голубой белизне петербургского мая, По пустынным аллеям неслышно пройду, Драгоценные плечи твои обнимая.

«Как обидно — чудным даром...»

Как обидно — чудным даром, Божьим даром обладать, Зная, что растратишь даром Золотую благодать.

И не только зря растратишь, Жемчуг свиньям раздаря, Но еще к нему доплатишь Жизнь, погубленную зря.

«Портной обновочку утюжит...»

Портной обновочку утюжит, Сопит портной, шипит утюг, И брюки выглядят не хуже Любых обыкновенных брюк.

А между тем они из воска, Из музыки, из лебеды, На синем белая полоска — Граница счастья и беды.

Из бездны протянулись руки: В одной цветы, в другой кинжал. Вскочил портной, спасая брюки, Но никуда не убежал.

Торчит кинжал в боку портного, Белеют розы на груди. В сияньи брюки Иванова Летят и — вечность впереди.

«Зима идет своим порядком...»

Зима идет своим порядком — Опять снежок. Еще должок. И гадко в этом мире гадком Жевать вчерашний пирожок.

И в этом мире слишком узком, Где все потеря и урон, Считать себя, с чего-то, русским, Читать стихи, считать ворон.

Разнежась, радоваться маю, Когда растаяла зима... О, Господи, не понимаю, Как все мы, не сойдя с ума,

Встаем-ложимся, щеки бреем, Гуляем или пьем-едим, О прошлом-будущем жалеем, А душу все не продадим.

Вот эту вянущую душку— За гривенник, копейку, грош. Дороговато? — За полушку. Бери бесплатно! — Не берешь?

«Эмалевый крестик в петлице...»

Эмалевый крестик в петлице И серой тужурки сукно... Какие печальные лица И как это было давно.

Какие прекрасные лица И как безнадежно бледны — Наследник, императрица, Четыре великих княжны...

«Повторяются дождик и снег...»

Повторяются дождик и снег, Повторяются нежность и грусть, То, что знает любой человек, Что известно ему наизусть.

И, сквозь призраки русских берез, Левитановски-ясный покой Повторяет все тот же вопрос: «Как дошел ты до жизни такой?»

«Прозрачная ущербная луна...»

Прозрачная ущербная луна Сияет неизбежностью разлуки. Взлетает к небу музыки волна, Тоской звенящей рассыпая звуки.

— Прощай... И скрипка падает из рук. Прощай, мой друг!.. И музыка смолкает. Жизнь размыкает на мгновенье круг И наново, навеки замыкает.

И снова музыка летит звеня. Но нет! Не так как прежде — без меня.



Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева 1891–1945



«Мы не выбирали нашей колыбели…»

Мы не выбирали нашей колыбели, Над постелью снежной пьяный ветер выл. Очи матери такой тоской горели, Первый час — страданье, вздох наш криком был.

Господи, когда же выбирают муку? Выбрала б, быть может, озеро в горах, А не вьюгу, голод, смертную разлуку, Вечный труд кровавый и кровавый страх.

Только Ты дал муку, — мы ей не изменим, Верные на смерть терзающей мечте, Мы такое море нашей грудью вспеним, Отдадим себя жестокой красоте.

Господи, Ты знаешь, — хорошо на плахе Головой за вечную отчизну лечь. Господи, я чую, как в предсмертном страхе Крылья шумные расправлены у плеч.

«Там было молоко, и мед...»

Там было молоко, и мед, И соки винные в точилах. А здесь — паденье и полет, Снег на полях и пламень в жилах.

И мне блаженный жребий дан — В изодранном бреду наряде. О Русь, о нищий Ханаан, Земли не уступлю ни пяди.

Я лягу в прах и об земь лбом, Врасту в твою сухую глину. И щебня горсть, и пыли ком Слились со мною в плоть едину.

«Братья, братья, разбойники, пьяницы...»

Братья, братья, разбойники, пьяницы, Что же будет с надеждою нашею? Что же с нашими душами станется Пред священной Господнею Чашею?

Как придем мы к Нему неумытые? Как приступим с душой вороватою? С раной гнойной и язвой открытою, Все блудницы, разбойники, мытари За последней и вечной расплатою?

Будет час, — и воскреснут покойники, Те — одетые в белые саваны, Эти — в вечности будут разбойники, Встанут в рубищах окровавленных.

Только сердце влечется и тянется Быть, где души людей не устроены. Братья, братья, разбойники, пьяницы, Вместе встретим Господнего Воина.

«Убери меня с Твоей земли…»

Убери меня с Твоей земли, С этой пьяной, нищей и бездарной, Боже силы, больше не дремли, Бей, и бей, и бей в набат пожарный.

Господи, зачем же нас в удел Дьяволу оставить на расправу? В тысячи людских тщедушных тел Влить необоримую отраву?

И не знаю, кто уж виноват, Кто невинно терпит немощь плоти, — Только мир Твой богозданный — ад, В язвах, в пьянстве, в нищете, в заботе.

Шар земной грехами раскален, Только гной и струпья— плоть людская. Не запомнишь списка всех имен, Всех, лишенных радости и рая.

От любви и горя говорю — Иль пошли мне ангельские рати, Или двери сердца затворю Для отмеренной так скупо благодати.

«Не то, что мир во зле лежит, не так…»

Не то, что мир во зле лежит, не так, — Но он лежит в такой тоске дремучей. Все сумерки — а не огонь и мрак, Все дождичек — не грозовые тучи.

За первородный грех Ты покарал Не ранами, не гибелью, не мукой, — Ты просто нам всю правду показал И все пронзил тоской и скукой.

«Что я делаю? — Вот без оглядки…»

Что я делаю? — Вот без оглядки Вихрь уносится грехов, страстей. Иль я вечность все играла в прятки С нищею душой своей?

Нет, теперь все именую четко — Гибель значит гибель, грех так грех. В этой жизни, дикой и короткой, Падала я ниже всех.

И со дна, с привычной преисподней, Подгребая в свой костер золу, Я предвечной Мудрости Господней Возношу мою хвалу.

«Мне кажется, что мир еще в лесах...»

Мне кажется, что мир еще в лесах, На камень камень, известь, доски, щебень. Ты строишь дом, Ты обращаешь прах В единый мир, где будут петь молебен.

Растут медлительные купола... Не именуемый, нездешний, Некто, Ты нам открыт лишь чрез Твои дела, Открыт нам, как великий Архитектор.

На нерадивых Ты подъемлешь бич, Бросаешь их из жизни в сумрак ночи. Возьми меня, я только Твой кирпич, Строй из меня, непостижимый Зодчий.

«С народом моим предстану...»

С народом моим предстану, А Ты воздвигнешь весы, Измеришь каждую рану И спросишь про все часы.

Ничто, ничто мы не скроем, — Читай же в наших сердцах, — Мы жили, не зная покоя, Как ветром носимый прах.

Мы много и трудно грешили, Мы были на самом дне, Мечтали средь грязи и пыли О самом тяжелом зерне.

И вот он, колос наш спелый. Не горек ли хлеб из него? Что примешь из нашего дела Для Царствия Твоего?

От горького хлеба жажда. Вот эту жажду прими, Чтоб в жажде помнил каждый О муках милой земли.

«Чудом Ты отверз слепой мой взор...»

Чудом Ты отверз слепой мой взор, И за оболочкой смертной боли С моей волей встретились в упор Все предначертанья черной воли.

И людскую немощь покарав, Ты открыл мне тайну злого чуда. Господи, всегда ты свят и прав, — Я ли буду пред Тобой Иуда?

Но прошу — нет, даже не прошу, Просто говорю Тебе, что нужно. Благодать не даруй по грошу, Не оставь пред злобой безоружной.

Дай мне много — ангельскую мощь, Обличительную речь пророка, В каждом деле будь мне жезл и вождь, Солнце незакатное с Востока.

Палицей Твоею быть хочу И громоподобною трубою. Засвети меня, Твою свечу, Меч, покорный и готовый к бою.

И о братьях: разве их вина, Что они как поле битвы стали? Выходи навстречу, сатана, Меч мой кован из Господней стали.

«Там, между Тигром и Евфратом...»

Там, между Тигром и Евфратом, Сказали: юности конец. Брат будет смертно биться с братом, И сына проклянет отец.

Мы больше не вернемся к рощам У тихих вод Твоих возлечь, Мы ждем дождя посевам тощим, В золе мы будем хлеб наш печь.

Тебе мучительно быть с нами, Бессильный грех наш сторожить. Создал нас светлыми руками,— Мы ж в свете не умеем жить.

«И каждую косточку ломит...»

И каждую косточку ломит, И каждая мышца болит. О, Боже, в земном Твоем доме Даже и камень горит.

Пронзила великая жалость Мою истомленную плоть. Все мы — ничтожность и малость Пред славой Твоею, Господь.

Мне голос ответил: «Трущобы — Людского безумья печать — Великой любовью попробуй До славы небесной поднять».

«Трудный путь мы избирали вольно...»

Трудный путь мы избирали вольно, А теперь уж не восстать, не крикнуть. Все мы тщимся теснотой игольной В Царствие небесное проникнуть.

Не давал ли Ты бесспорных знаков? И не звал ли всех нас, Пастырь добрый? Вот в боренье мы с Тобой, как Яков, И сокрушены Тобою ребра...

«Нечего больше тебе притворяться...»

Нечего больше тебе притворяться, За непонятное прятать свой лик. Узнавшие тайну уже не боятся, Пусть ты хитер, и умен, и велик.

И не обманешь слезинкой ребенка, Не восстановишь на Бога меня. Падает с глаз наваждения пленка, Все я увидела в четкости дня.

Один на один я с тобой, с сатаною, По Божью веленью, как отрок Давид, Снимаю доспехи и грудь я открою. Взметнула пращою, и камень летит.

В лоб. И ты рухнул. Довольно, проклятый, Глумился над воинством ты, Голиаф. Божию силу, не царские латы Узнал ты, навеки на землю упав.

Сильный Израилев, вижу врага я И Твоей воли спокойно ищу. Вот выхожу без доспехов, нагая, Сжавши меж пальцев тугую пращу.

«Припасть к окну в чужую маету...»

Припасть к окну в чужую маету И полюбить ее, пронзиться ею. Иную жизнь почувствовать своею, Ее восторг, и боль, и суету.

О, стены милые чужих жилищ, Раз навсегда в них принятый порядок, Цепь маленьких восторгов и загадок, — Пред вашей полнотою дух мой нищ.

Прильнет он к вам, благоговейно нем, Срастется с вами... Вдруг Господни длани Меня швырнут в круги иных скитаний... За что? Зачем?



Владимир Владимирович Набоков 1899–1977



«В неволе я, в неволе я, в неволе!..»

В неволе я, в неволе я, в неволе! На пыльном подоконнике моем следы локтей. Передо мною дом туманится. От несравненной боли я изнемог... Над крышей, на спине готического голого уродца, как белый голубь, дремлет месяц... Мне так грустно, мне так грустно... С кем бороться не знаю, Боже. И кому помочь не знаю тоже... Льется, льется ночь (о, как ты, ласковая, одинока!); два голоса несутся издалека; туман луны стекает по стенам; влюбленных двое обнялись в тумане... Да, о таких рассказывают нам шарманки выцветших воспоминаний и шелестящие сердца старинных книг. Влюбленные. В мой переулок узкий они вошли. Мне кажется на миг, что тихо говорят они по-русски.

Жемчуг

Посланный мудрейшим властелином страстных мук изведать глубину, тот блажен, кто руки сложит клином и скользнет, как бронзовый, ко дну.

Там, исполнен сумрачного гуда, средь морских свивающихся звезд, зачерпнет он раковину: чудо будет в ней, лоснящийся нарост.

И тогда он вынырнет, раздвинув яркими кругами водный лоск, и спокойно улыбнется, вынув из ноздрей побагровевший воск.

Я сошел в свою глухую муку, я на дне. Но снизу, сквозь струи, все же внемлю шелковому звуку уносящейся твоей ладьи.

14.1.23.

«Нет, бытие — не зыбкая загадка...»

Нет, бытие — не зыбкая загадка. Подлунный дол и ясен, и росист. Мы — гусеницы ангелов; и сладко въедаться с краю в нежный лист.

Рядись в шипы, ползи, сгибайся, крепни, и чем жадней твой ход зеленый был, тем бархатистей и великолепней хвосты освобожденных крыл.

6.5.23.

«В кастальском переулке есть лавчонка...»

В кастальском переулке есть лавчонка: колдун в очках и сизом сюртуке слова, поблескивающие звонко, там продает поэтовой тоске.

Там в беспорядке пестром и громоздком кинжалы, четки — сказочный товар! В углу — крыло, закапанное воском, с пометкою привешенной: Икар.

По розам голубым, по пыльным книгам ползет ручная древняя змея. И я вошел, заплаканный, и мигом смекнул колдун, откуда родом я.

Принес футляр малиново-зеленый, оттуда лиру вытащил колдун, новейшую: большой позолоченный хомут и проволоки вместо струн.

Я отстранил ее... Тогда другую он выложил: старинную, в сухих и мелких розах — лиру дорогую, но слишком нежную для рук моих.

Затем мы с ним смотрели самоцветы, янтарные, сапфирные слова, слова-туманы и слова-рассветы, слова бессилия и торжества. И куклою, и завитками урны колдун учтиво соблазнял меня;

с любовью гладил волосок лазурный из гривы баснословного коня. Быть может, впрямь он был необычаен, но я вздохнул, откинул огоньки камней, клинков — и вышел; а хозяин глядел мне вслед, подняв на лоб очки. Я не нашел. С усмешкою суровой сложи, колдун, сокровища свои. Что нужно мне? Одно простое слово для горя человеческой любви.

1923

«Ты все глядишь из тучи темно-сизой...»

Ты все глядишь из тучи темно-сизой, и лилия — в светящейся руке; а я сквозь сон молю о лепестке и все ищу в изгибах смутной ризы изгиб живой колена иль плеча.

Мне твоего не выразить подобья ни в музыке, ни в камне... Исподлобья глядят в мой сон два горестных луча.

1923

«При луне, когда косую крышу...»

При луне, когда косую крышу лижет металлический пожар, из окна случайного я слышу сладкий и пронзительный удар музыки; и чувствую, как холод счастия мне душу обдает; кем-то ослепительно расколот лунный мрак; и медленно в полет собираюсь, вынимая руки из карманов, трепещу, лечу, но в окне мгновенно гаснут звуки, и меня спокойно по плечу хлопает прохожий: «Вы забыли, — говорит, — летать запрещено». И застыв, в венце из лунной пыли, я гляжу на смолкшее окно.

Молитва

Пыланье свеч то выявит морщины, то по белку блестящему скользнет. В звездах шумят древесные вершины, и, замирает крестный ход. Со мною ждет ночь темно-голубая, и вот, из мрака, церковь огибая, пасхальный вопль опять растет.

Пылай, свеча, и трепетные пальцы жемчужинами воска ороси. О милых мертвых думают скитальцы, о дальней молятся Руси. А я молюсь о нашем дивьем диве, о русской речи, плавной, как по ниве движенье ветра... Воскреси!

О, воскреси душистую, родную, косноязычный сон ер гнетет. Искажена, искромсана, но чую ее невидимый полет. И ждет со мной ночь темно-голубая, и вот, из мрака, церковь огибая, пасхальный вопль опять растет.

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной, вся жизнь моя, огонь несметных свеч. Ты станешь вновь, как воды, полногласной, и чистой, как на солнце меч, и величавой, как волненье нивы. Так молится ремесленник ревнивый и рыцарь твой, родная речь.

Прохожий с ёлкой

На белой площади поэт запечатлел твой силуэт.

Домой, в непраздничный мороз, ты елку черную понес.

Пальто российское до пят. Калоши по снегу скрипят.

С зубчатой елкой на спине ты шел по ровной белизне,

сам черный, сгорбленный, худой, уткнувшись в ворот бородой,

в снегах не наших площадей, с немецкой елочкой своей.

И в поэтический овал твой силуэт я врисовал.

1925

Сон

Однажды ночью подоконник дождем был шумно орошен. Господь открыл свой тайный сонник и выбрал мне сладчайший сон.

Звуча знакомою тревогой, рыданье ночи дом трясло. Мой сон был синею дорогой через тенистое село.

Под мягкой грудою колеса скрипели глубоко внизу: я навзничь ехал с сенокоса на синем от теней возу.

И снова, тяжело, упрямо, при каждом повороте сна скрипела и кренилась рама дождем дышавшего окна.

И я, в своей дремоте синей, не знал, что истина, что сон: та ночь на роковой чужбине, той рамы беспокойный стон,

или ромашка в теплом сене у самых губ моих, вот тут, и эти лиственные тени, что сверху кольцами текут...

Воскресение мёртвых

Нам, потонувшим мореходам, похороненным в глубине под вечно движущимся сводом, являлся старый порт во сне:

кайма сбегающая пены, на камне две морских звезды, из моря выросшие стены в дрожащих отблесках воды.

Но выплыли и наши души, когда небесная труба пропела тонко, и на суше распались с грохотом гроба.

И к нам туманная подходит ладья апостольская, в лад с волною дышит и наводит огни двенадцати лампад.

Все, чем пленяла жизнь земная, всю прелесть, теплоту, красу в себе божественно вмещая, горит фонарик на носу.

Луч окунается в морские им разделенные струи, и наших душ ловцы благие берут нас в тишину ладьи.

Плыви, ладья, в туман суровый, в залив играющий влетай, где ждет нас городок портовый, как мы, перенесенный в рай.

1925

Годовщина

В те дни, дай Бог, от краю и до краю гражданская повеет благодать: все сбудется, о чем за чашкой чаю мы на чужбине любим погадать.

И вот последний человек на свете, кто будет помнить наши времена, в те дни на оглушительном банкете, шалея от волненья и вина,

дрожащий, слабый, в дряхлом умиленье поднимется... Но нет, он слишком стар: черта изгнанья тает в отдаленье, и ничего не помнит юбиляр.

Мы будем спать, минутные поэты; я, в частности, прекрасно буду спать, в бою случайном ангелом задетый, в родимый прах вернувшийся опять.

Библиофил какой-нибудь, я чую, найдет в былых, не нужных никому журналах, отпечатанных вслепую нерусскими наборщиками, тьму

статей, стихов, чувствительных романов о том, как Русь была нам дорога, как жил Петров, как странствовал Иванов и как любил покорный ваш слуга.

Но подписи моей он не отметит: забыто все. И, Муза, не беда. Давай блуждать, давай глазеть, как дети, на проносящиеся поезда.

На всякий блеск, на всякое движенье, предоставляя выспренним глупцам бранить наш век, пенять на сновиденье, единый раз дарованное нам.

1926

Комната

Вот комната. Еще полуживая, но оживет до завтрашнего дня. Зеркальный шкап глядит, не узнавая, как ясное безумье, на меня.

В который раз выкладываю вещи, знакомлюсь вновь с причудами ключей; и медленно вся комната трепещет, и медленно становится моей.

Совершено. Все призвано к участью в моем существованье, каждый звук: скрип ящика, своею доброй пастью пласты белья берущего из рук.

И рамы, запирающейся плохо, стук по ночам — отмщенье за сквозняк; возня мышей, их карликовый грохот, и чей-то приближающийся шаг:

он никогда не подойдет вплотную; как на воде за кругом круг, идет и пропадает, и опять я чую, как он вздохнул и двинулся вперед.

Включаю свет. Все тихо. На перину свет падает малиновым холмом. Все хорошо. И скоро я покину вот эту комнату и этот дом.

Я много знал таких покорных комнат, но пригляжусь, и грустно станет мне: никто здесь не полюбит, не запомнит старательных узоров на стене.

Сухую акварельную картину и лампу в старом платьице сквозном забуду сам, когда и я покину вот эту комнату и этот дом.

В другой пойду: опять однообразность обоев, то же кресло у окна... Но грустно мне: чем незаметней разность, тем, может быть, божественней она.

И может быть, когда похолодеем и в голый рай из жизни перейдем, забывчивость земную пожалеем, не зная, чем обставить новый дом...

1926

К России

Мою ладонь географ строгий разрисовал: тут все твои большие, малые дороги, а жилы — реки и ручьи.

Слепец, я руки простираю и все земное осязаю через тебя, страна моя. Вот почему так счастлив я.

И если правда, что намедни мне померещилось во сне, что час беспечный, час последний меня найдет в чужой стране,

как на покатой школьной парте, совьешься ты подобно карте, как только отпущу края, и ляжешь там, где лягу я.

1928

Родина

Бессмертное счастие наше Россией зовется в веках. Мы края не видели краше, а были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам; и гордые музы России незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму лесов на равнинах родных, за ими внушенную думу, за каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тайной, Россией всегда окружен.

Билет

На фабрике немецкой, вот сейчас, — дай рассказать мне, Муза, без волненья! на фабрике немецкой, вот сейчас, все в честь мою идут приготовленья.

Уже машина говорит: «жую; бумажную выглаживаю кашу; уже пласты другой передаю». Та говорит: «нарежу и подкрашу».

Уже найдя свой правильный размах, стальное многорукое созданье печатает на розовых листах невероятной станции названье.

И человек бесстрастно рассует те лепестки по ящикам в конторе, где на стене глазастый пароход и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет тот равнодушный, медленный приказчик, который выдвинет заветный ящик и выдаст мне на родину билет.

Расстрел

Бывают ночи: только лягу, в Россию поплывет кровать; и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, — вот-вот сейчас пальнет в меня — я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознанья коснется тиканье часов, благополучного изгнанья я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело, чтоб это вправду было так: Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг.

Берлин, 1927

Лыжный прыжок

Для состязаний быстролетных на том белеющем холму вчера был скат на сваях плотных сколочен. Лыжник по нему

съезжал со свистом; а пониже скат обрывался: это был уступ, где становились лыжи четою ясеневых крыл.

Люблю я встать над бездной снежной, потуже затянуть ремни... Бери меня, наклон разбежный, и в дивной пустоте — распни.

Дай прыгнуть, под гуденье ветра, под трубы ангельских высот, не семьдесят четыре метра, а миль, пожалуй, девятьсот.

И небо звездное качнется, легко под лыжами скользя, и над Россией пресечется моя воздушная стезя.

Увижу инистый Исакий, огни мохнатые на льду, и, вольно прозвенев во мраке, как жаворонок, упаду.

Вершина

Люблю я гору в шубе черной лесов еловых, потому что в темноте чужбины горной я ближе к дому моему.

Как не узнать той хвои плотной и как с ума мне не сойти хотя б от ягоды болотной, заголубевшей на пути.

Чем выше темные, сырые тропинки вьются, тем ясней приметы с детства дорогие равнины северной моей.

Не так ли мы по склонам рая взбираться будем в смертный час, все то любимое встречая, что в жизни возвышало нас?

Шварцвальд, 1925

Крушение

В поля, под сумеречным сводом, сквозь опрокинувшийся дым прошли вагоны полным ходом за паровозом огневым:

багажный — запертый, зловещий, где сундуки на сундуках, где обезумевшие вещи, проснувшись, бухают впотьмах —

и четырех вагонов спальных фанерой выложенный ряд, и окна в молниях зеркальных чредою беглою горят.

Там штору кожаную спустит дремота, рано подоспев, и чутко в стукотне и хрусте отыщет правильный напев.

И кто не спит, тот глаз не сводит с туманных впадин потолка, где под сквозящей лампой ходит кисть задвижного колпака.

Такая малость — винт некрепкий, и вдруг под самой головой чугун бегущий, обод цепкий соскочит с рельсы роковой.

И вот по всей ночной равнине стучит, как сердце, телеграф, и люди мчатся на дрезине, во мраке факелы подняв.

Такая жалость: ночь росиста, а тут — обломки, пламя, стон... Недаром дочке машиниста приснилась насыпь, страшный сон:

там, завывая на изгибе, стремилось сонмище колес, и двое ангелов на гибель громадный гнали паровоз.

И первый наблюдал за паром, смеясь, переставлял рычаг, сияя перистым пожаром, в летучий вглядывался мрак.

Второй же, кочегар крылатый, стальною чешуей блистал и уголь черною лопатой он в жар без устали метал.

1925

Путь

Великий выход на чужбину, как дар божественный, ценя, веселым взглядом мир окину, отчизной ставший для меня.

Отраду слов скупых и ясных прошу я Господа мне дать, — побольше странствий, встреч опасных, в лесах подальше заплутать.

За поворотом, ненароком, пускай найду когда-нибудь наклонный свет в лесу глубоком, где корни переходят путь, —

то теневое сочетанье листвы, тропинки и корней, что носит для души названье России, родины моей.

(1925)

Первая любовь

В листве березовой, осиновой, в конце аллеи у мостка, вдруг падал свет от платья синего, от василькового венка.

Твой образ легкий и блистающий как на ладони я держу, и бабочкой неулетающей благоговейно дорожу.

И много лет прошло, и счастливо я прожил без тебя, а все ж порой я думаю опасливо: жива ли ты, и где живешь.

Но если встретиться нежданная судьба заставила бы нас, меня бы, как уродство странное, твой образ нынешний потряс.

Обиды нет неизъяснимее: ты чуждой жизнью обросла. Ни платья синего, ни имени ты для меня не сберегла.

И все давным-давно просрочено, и я молюсь, и ты молись, чтоб на утоптанной обочине мы в тусклый вечер не сошлись.

«Для странствия ночного мне не надо...»

Для странствия ночного мне не надо ни кораблей, ни поездов. Стоит луна над шашечницей сада. Окно открыто. Я готов.

И прыгает с беззвучностью привычной, как ночью кот через плетень, на русский берег речки пограничной моя беспаспортная тень.

Таинственно, легко, неуязвимо ложусь на стены чередой, и в лунный свет, и в сон, бегущий мимо, напрасно метит часовой.

Лечу лугами, по лесу танцую — и кто поймет, что есть один, один живой на всю страну большую, один счастливый гражданин.

Вот блеск Невы вдоль набережной длинной. Все тихо. Поздний пешеход, встречая тень средь площади пустынной, воображение клянет.

Я подхожу к неведомому дому, я только место узнаю... Там, в темных комнатах, все по-другому и все волнует тень мою. Там дети спят. Над уголком подушки я наклоняюсь, и тогда им снятся прежние мои игрушки, и корабли, и поезда.

1929

Сны

Странствуя, ночуя у чужих, я гляжу на спутников моих, я ловлю их говор тусклый. Роковых я требую примет: кто увидит родину, кто нет, кто уснет в земле нерусской.

Если б знать. Ведь странникам даны только сны о родине, а сны ничего не переменят. Что таить — случается и мне видеть сны счастливые: во сне я со станции в именье

еду, не могу сидеть, стою в тарантасе тряском, узнаю все толчки весенних рытвин, еду, с непокрытой головой, белый, что платок твой, и с душой, слишком полной для молитвы.

Господи, я требую примет: кто увидит родину, кто нет, кто уснет в земле нерусской. Если б знать. За годом валит год, даже тем, кто верует и ждет, даже мне бывает грустно.

Только сон утешит иногда. Не на области и города, не на волости и села вся Россия делится на сны,

что несметным странникам даны на чужбине ночью долгой.

1926

Поэты

Из комнаты в сени свеча переходит и гаснет. Плывет отпечаток в глазах, пока очертаний своих не находит беззвездная ночь в темно-синих ветвях.

Пора, мы уходим — еще молодые, со списком еще не приснившихся снов, с последним, чуть зримым сияньем России на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали, нам жить бы, казалось, и книгам расти, но музы безродные нас доконали, и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть своею свободою добрых людей. Нам просто пора, да и лучше не видеть всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира, окна, в отдаленье поймавшего луч, лунатиков смирных в солдатских мундирах, высокого неба, внимательных туч;

красы, укоризны; детей малолетних, играющих в прятки вокруг и внутри уборной, кружащейся в сумерках летних; красы, укоризны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит; рыданья рекламы на том берегу, текучих ее изумрудов в тумане, всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского в ту область... как хочешь ее назови: пустыня ли, смерть, отрешенье от слова, иль, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги тележной, где в пене цветов колея не видна, молчанье отчизны — любви безнадежной — молчанье зарницы, молчанье зерна.

Париж, 1939

L'inconnue de la seine

Торопя этой жизни развязку, не любя на земле ничего, все гляжу я на белую маску неживого лица твоего.

В без конца замирающих струнах слышу голос твоей красоты. В бледных толпах утопленниц юных всех бледней и пленительней ты.

Ты со мною хоть в звуках помешкай, жребий твой был на счастие скуп, так ответь же посмертной усмешкой очарованных гипсовых губ.

Неподвижны и выпуклы веки, густо слиплись ресницы. Ответь, неужели навеки, навеки... А ведь как ты умела глядеть!

Плечи худенькие, молодые, черный крест шерстяного платка, фонари, ветер, тучи ночные, в темных яблоках злая река.

Кто он был, умоляю, поведай, соблазнитель таинственный твой — кудреватый племянник соседа — пестрый галстучек, зуб золотой?

Или звездных небес завсегдатай, друг бутылки, костей и кия, вот такой же гуляка проклятый, прогоревший мечтатель, как я?

И теперь, сотрясаясь всем телом, он, как я, на кровати сидит в черном мире, давно опустелом, и на белую маску глядит.

Берлин, 1934

«И утро будет: песни, песни...»

И утро будет: песни, песни, каких не слышно и в раю, и огненный промчится вестник, взвив тонкую трубу свою.

Распахивая двери наши, он пронесется, протрубит, дыханьем расплавляя чаши неупиваемых обид.

Весь мир, извилистый и гулкий, неслыханные острова, немыслимые закоулки, как пламя, облетит молва.

Тогда-то, с плавностью блаженной, как ясновидящие, все поднимемся, и в путь священный по первой утренней росе.

30.1.23.

«Я где-то за городом, в поле...»

Я где-то за городом, в поле, и звезды гулом неземным плывут, и сердце вздулось к ним, как темный купол гулкой боли.

И в некий напряженный свод — и все труднее, все суровей — в моих бессонных жилах бьет глухое всхлипыванье крови.

Но в этой пустоте ночной, при этом голом звездном гуле, вложу ли в барабан резной тугой и тусклый жемчуг пули,

и дула кисловатый лед прижав о высохшее небо, в бесплотный ринусь ли полет из разорвавшегося гроба?

Или достойно дар приму, великолепный и тяжелый, — всю полнозвучность ночи голой и горя творческую тьму?

20.1.23.

На закате

На закате, у той же скамьи, как во дни молодые мои,

на закате, ты знаешь каком, с яркой тучей и майским жуком,

у скамьи с полусгнившей доской высоко над румяной рекой,

как тогда, в те далекие дни, улыбнись и лицо отверни,

если душам умерших давно иногда возвращаться дано.

Берлин, 1935

Видение

В снегах полуночной пустыни мне снилась матерь всех берез, и кто-то — движущийся иней — к ней тихо шел и что-то нес.

Нес на плече, в тоске высокой, мою Россию, детский гроб; и под березой одинокой в бледно-пылящийся сугроб

склонился в трепетанье белом, склонился, как под ветром дым. Был предан гробик с легким телом снегам невинным и немым.

И вся пустыня снеговая, молясь, глядела в вышину, где плыли тучи, задевая крылами тонкими луну.

В просвете лунного мороза то колебалась, то в дугу сгибалась голая береза, и были тени на снегу

там, на могиле этой снежной, сжимались, разгибались вдруг, заламывались безнадежно, как будто тени Божьих рук.

И поднялся, и по равнине в ночь удалился навсегда лик Божества, виденье, иней, не оставляющий следа...

1924

«Как воды гор, твой голос горд и чист...»

И. А. Бунину

Как воды гор, твой голос горд и чист. Алмазный стих наполнен райским медом. Ты любишь мир и юный месяц, лист, желтеющий над смуглым сочным плодом.

Ты любишь змей, тяжелых злых узлов лиловый лоск на дне сухой ложбины. Ты любишь снежный шелест голубиный вокруг лазурных, влажных куполов.

Твой стих роскошный и скупой, холодный и жгучий стих один горит, один над маревом губительных годин, и весь в цветах твой жертвенник свободный,

Он каплет в ночь росою ледяной и январями благовоний знойных, и нагота твоих созвучий стройных сияет мне как бы сквозь шелк цветной.

Безвестен я и молод в мире новом, кощунственном, но светит все ясней мой строгий путь: ни помыслом, ни словом не согрешу пред музою твоей.

В раю

Здравствуй, смерть! — и спутник крылатый, объясняя, в рай уведет, но внезапно зеленый, зубчатый, нежный лес предо мною мелькнет.

И немой, в лучистой одежде, я рванусь и в чаще найду прежний дом мой земной, и как прежде дверь заплачет, когда я войду.

Одуванчик тучки апрельской в голубом окошке моем, да диван из березы карельской, да семья мотыльков под стеклом.

Буду снова земным поэтом: на столе открыта тетрадь... Если Богу расскажут об этом, Он не станет меня укорять.

Кембридж, 1920

Скитальцы

За громадные годы изгнанья, вся колючим жаром дыша, исходила ты мирозданья, о, косматая наша душа.

Семимильных сапог не обула, и не мчал тебя чародей, но от пыльных зловоний Стамбула до парижских литых площадей,

от полярной губы до Бискры, где с арабом прильнула к ручью, ты прошла и сыпала искры, если трогали шерсть твою.

Мы, быть может, преступнее, краше, голодней всех племен мирских. От языческой нежности нашей умирают девушки их.

Слишком вольно душе на свете. Встанет ветер всея Руси, и душа скитальцев ответит, и ей ветер скажет: неси.

И по ребрам дубовых лестниц мы прокатим с собой на пир бочки солнца, тугие песни и в рогожу завернутый мир.

На рассвете

Я показывал твой смятый снимок трем блудницам. Плыл кабак ночной. Рассвело. Убогий город вымок в бледном воздухе. Я шел домой.

Освещенное окно, где черный человечек брился, помню; стон первого трамвая; и просторный, тронутый рассветом небосклон.

Боль моя лучи свои простерла, в небеса невысохшие шла. Голое переполнялось горло судорогой битого стекла.

И окно погасло: кончил бриться. День рабочий, бледный, впереди. А в крови все голос твой струится: «навсегда», сказала, «уходи».

И подумала; и где-то капал кран; и повторила: «навсегда». В обмороке, очень тихо, на пол тихо соскользнула, как вода.

Берлин, 8.2.24.

«Санкт-Петербург — узорный иней...»

Санкт-Петербург — узорный иней, ex libris беса, может быть, но дивный... Ты уплыл, и ныне мне не понять и не забыть.

Мой Пушкин бледной ночью, летом, сей отблеск объяснял своей Олениной, а в пенье этом сквозная тень грядущих дней.

И ныне: лепет любопытных, прах, нагота, крысиный шурк в книгохранилищах гранитных; и ты уплыл, Санкт-Петербург.

И долетая сквозь туманы с воздушных площадей твоих, меня печалит музы пьяной скуластый и осипший стих.

Берлин, 25.9.23.

Кинематограф

Люблю я световые балаганы все безнадежнее и все нежней. Там сложные вскрываются обманы простым подслушиваньем у дверей.

Там для распутства символ есть единый — бокал вина; а добродетель — шьет. Между чертами матери и сына острейший глаз там сходства не найдет.

Там, на руках, в автомобиль огромный не чуждый состраданья богатей усердно вносит барышень бездомных, в тигровый плед закутанных детей.

Там письма спешно пишутся средь ночи: опасность... трепет... поперек листа рука бежит... И как разборчив почерк, какая писарская чистота!

Вот спальня озаренная. Смотрите, как эта шаль упала на ковер. Не виден ослепительный юпитер, не слышен раздраженный режиссер;

но ничего там жизнью не трепещет: пытливый гость не может угадать связь между вещью и владельцем вещи, житейского особую печать. О, да! Прекрасны гонки, водопады, вращение зеркальной темноты. Но вымысел? Гармонии услада? Ума полет? О, Муза, где же ты?

Утопит злого, доброго поженит, и снова, через веси и века, спешит роскошное воображенье самоуверенного пошляка.

И вот — конец... Рояль незримый умер, темно и незначительно пожив. Очнулся мир, прохладою и шумом растаявшую выдумку сменив.

И со своей подругою приказчик, встречая ветра влажного напор, держа ладонь над спичкою горящей, насмешливый выносит приговор.

1928

Тихий шум

Когда в приморском городке, средь ночи пасмурной, со скуки окно откроешь, вдалеке прольются шепчущие звуки.

Прислушайся и различи шум моря, дышащий на сушу, оберегающий в ночи ему внимающую душу.

Весь день невнятен шум морской, но вот проходит день незваный, позванивая, как пустой стакан на полочке стеклянной.

И вновь в бессонной тишине открой окно свое пошире, и с морем ты наедине в огромном и спокойном мире.

Не моря шум — в тиши ночей иное слышно мне гуденье: шум тихий родины моей, ее дыханье и биенье.

В нем все оттенки голосов мне милых, прерванных так скоро, и пенье пушкинских стихов, и ропот памятного бора.

Отдохновенье, счастье в нем, благословенье над изгнаньем. Но тихий шум не слышен днем за суетой и дребезжаньем.

Зато в полночной тишине внимает долго слух неспящий стране родной, ее шумящей, ее бессмертной глубине.

Ле Булю, 1929

«Глаза прикрою — и мгновенно…»

Глаза прикрою — и мгновенно, весь легкий, звонкий весь, стою опять в гостиной незабвенной, в усадьбе, у себя, в раю.

И вот из зеркала косого под лепетанье хрусталей глядят фарфоровые совы — пенаты юности моей.

И вот, над полками, гортензий легчайшая голубизна, и солнца луч, как Божий вензель, на венском стуле, у окна.

По потолку гудит досада двух заплутавшихся шмелей, и веет свежестью из сада, из глубины густых аллей,

неизъяснимой веет смесью еловой, липовой, грибной: там, по сырому пестролесью, — свист, щебетанье, гам цветной!

А дальше — сон речных извилин и сенокоса тонкий мед. Стой, стой, виденье! Но бессилен мой детский возглас. Жизнь идет,

с размаху небеса ломая, идет... ах, если бы навек остаться так, не разжимая росистых и блаженных век!

3.2.23

«Благодарю тебя, отчизна...»

Благодарю тебя, отчизна, за злую даль благодарю! Тобою полн, тобой не признан, я сам с собою говорю. И в разговоре каждой ночи сама душа не разберет, мое ль безумие бормочет, твоя ли музыка растет...

(Из романа «Дар»)

«Когда я по лестнице алмазной...»

Когда я по лестнице алмазной поднимусь из жизни на райский порог, за плечом, к дубинке легко привязан, будет заплатанный узелок.

Узнаю: ключи, кожаный пояс, медную плешь Петра у ворот. Он заметит: я что-то принес с собою — и остановит, не отопрет.

«Апостол, скажу я, пропусти мя!..» Перед ним развяжу я узел свой: два-три заката, женское имя и темная горсточка земли родной...

Он поводит строго бровью седою, но на ладони каждый изгиб пахнет еще гефсиманской росою и чешуей иорданских рыб.

И потому-то без трепета, без грусти приду я, зная, что, звякнув ключом, он улыбнется и меня пропустит, в рай пропустит с моим узелком.

21.4.23.

К России

Отвяжись, я тебя умоляю! Вечер страшен, гул жизни затих. Я беспомощен. Я умираю от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выть на вершинах о ней, но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречье все, что есть у меня, мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы, сквозь все то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами не смотри на меня, пожалей, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья, и за горе, за муку, за стыд, поздно, поздно, никто не ответит, и душа никому не простит.

Париж, 1939



Арсений Несмелов 1889–1945



В этот день

В этот день встревоженный сановник К телефону часто подходил, В этот день испуганно, неровно Телефон к сановнику звонил.

В этот день, в его мятежном шуме, Было много гнева и тоски, В этот день маршировали к Думе Первые восставшие полки!

В этот день машины броневые Поползли по улицам пустым, В этот день... одни городовые С чердаков вступились за режим:

В этот день страна себя ломала, Не взглянув на то, что впереди, В этот день царица прижимала Руки к холодеющей груди.

В этот день в посольствах шифровали Первой сводки беглые кроки, В этот день отменно ликовали Явные и тайные враги.

В этот день... Довольно. Бога ради! Знаем, знаем, — надломилась ось: В этот день в отпавшем Петрограде Мощного героя не нашлось.

Этот день возник, кроваво вспенен, Этим днем начался русский гон, — В этот день садился где-то Ленин В свой запломбированный вагон.

Вопрошает совесть, как священник, Обличает Мученика тень... Неужели, Боже, нет прощенья Нам за этот сумасшедший день!

Восемнадцатому году

Идут года. На водоемах мутных Летящих лет черту не проведу, Все меньше нас, отважных и беспутных. Рожденных в восемнадцатом году.

Гремящий год! В венце багровых зарев Он над страной прозыбил шаткий шаг, То партизан, то воин государев, Но вечно исступлением дыша.

И обреченный, он пылал отвагой. Был щит его из гробовой доски. Сражался он надломленною шпагой, Еще удар, и вот она — в куски.

И умер он, взлетев ракетой яркой, Рассыпав в ночь шрапнели янтаря, В броневике, что сделан из углярки. Из Омска труп умчали егеря.

Ничьи знамена не сломила гибель, Не прогремел вослед ничей салют, Но в тех сердцах, где мощно след он выбил И до сих пор ему хвалу поют.

И не напрасно по полям Сибири Он проскакал на взмыленном коне, В защитном, окровавленном мундире, С надсеченной гранатою в руке.

Кто пил от бури, не погасит жажды У мелко распластавшейся струи, Ведь каждый город и поселок каждый Сберег людей, которые — твои.

Хранят они огонь в глазах бесстрастных, И этот взор — как острие ножа. Ты научил покорных, безучастных Великому искусству мятежа!

Пусть Ленин спит в своем гробу стеклянном,—Пусть Мавзолей и мумия мертва, А ты еще гуляешь по полянам, И году прогремевшему хвала.

Хвала тебе, год-витязь, год-наездник С тесьмой рубца, упавшей по виску. Ты выжег в нас столетние болезни: Покорность, нерешительность, тоску.

Все меньше нас — о, Год! — тобой рожденных, Но верю я, что в гневе боевом, По темным селам, по полям сожженным Проскачешь ты в году...

Божий гнев

Город жался к берегу домами, К морю он дворцы и храмы жал. «Убежать бы!» — пыльными устами Он вопил и все ж — не убежал!

Не успел. И воскрешая мифы, Заклубила, почернела высь, — Из степей каких-то, точно скифы, Всадники в папахах ворвались.

Богачи с надменными зобами, Неприступные, что короли, Сбросив спесь, бия о землю лбами, Сами дочерей к ним повели.

Чтобы те, перечеркнувши участь, Где крылатый царствовал божок, Стаскивали б, отвращеньем мучась, Сапожища с заскорузлых ног.

А потом, раздавлены отрядом, Брошены на липкой мостовой, Упирались бы стеклянным взглядом, Взглядом трупов, в купол голубой!

А с балкона, расхлябаснув ворот, Руки положив на ятаган, Озирал раздавленный им город Тридцатитрехлетний атаман...

Шевелил он рыжими усами, Вглядывался, слушал и стерег, И присевшими казались псами Пулеметы у его сапог.

Так, взращенный всяческим посевом Сытых ханжеств, векового зла, Он упал на город Божьим гневом, Молнией, сжигающей дотла!

В Нижнеудинске

День расцветал и был хрустальным, В снегу скрипел протяжно шаг. Висел над зданием вокзальным Беспомощно нерусский флаг.

И помню звенья эшелона, Затихшего, как неживой. Стоял у синего вагона Румяный чешский часовой.

И было точно погребальным Охраны хмурое кольцо, Но вдруг, на миг, в стекле зеркальном Мелькнуло строгое лицо.

Уста, уже без капли крови, Сурово сжатые уста!.. Глаза, надломленные брови, И между них — Его черта,—

Та складка боли, напряженья, В которой роковое есть... Рука сама пришла в движенье, И, проходя, я отдал честь.

И этот жест в морозе лютом, В той перламутровой тиши, — Моим последним был салютом, Салютом сердца и души! И он ответил мне наклоном Своей прекрасной головы... И паровоз далеким стоном Кого-то звал из синевы.

И было горько мне. И ковко Перед вагоном скрипнул снег: То с наклоненною винтовкой Ко мне шагнул румяный чех.

И тормоза прогрохотали, — Лязг приближался, пролетел, Умчали чехи Адмирала В Иркутск — на пытку и расстрел!

Баллада о Даурском. бароне

К оврагу, Где травы ржавели от крови, Где смерть опрокинула трупы на склон, Папаху надвинув на самые брови, На черном коне подъезжает барон.

Он спустится шагом к изрубленным трупам И смотрит им в лица, Склоняясь с седла,— И прядает конь, Оседающий крупом, И в пене испуга его удила.

И яростью, Бредом ее истомяся, Кавказский клинок,— Он уже обнажен,— В гниющее, Красноармейское мясо,— Повиснув к земле, Погружает барон.

Скакун обезумел, Не слушает шпор он, Выносит на гребень, Весь в лунном огне,— Испуганный шумом, Проснувшийся ворон Закаркает хрипло на черной сосне.

И каркает ворон, И слушает всадник, И льдисто светлеет худое лицо.
Чем возгласы птицы звучат безотрадней,
Тем,
Сжавшее сердце,
Слабеет кольцо.
Глаза засветились.
В тревожном их блеске —
Две крошечных искры,
Два тонких луча...
Но нынче,
Вернувшись из страшной поездки,
Барон приказал:
«Позовите врача!»

И лекарю,
Мутной тоскою оборон
(Шаги и бряцание шпор в тишине),
Отрывисто бросил:
«Хворает мой ворон:
Увидев меня,
Не закаркал он мне!

Ты будешь лечить его, Если ж последней Отрады лишусь — посчитаюсь с тобой!..» Врач вышел безмолвно И тут же, В передней, Руками развел и покончил с собой.

А в полдень, В кровавом Особом Отделе, Барону, — В сторонку дохнув перегар,— Сказали: «Вот эти... Они засиделись: Она — партизанка, а он — комиссар».

И медленно,
В шепот тревожных известий, —
Они напряженными стали опять, —
Им брошено:
«На ночь сведите их вместе,
А ночью — под вороном — расстрелять!»

И утром начштаба барону прохаркал О ночи и смерти казненных двоих... «А ворон их видел? А ворон закаркал?» — Барон перебил... И полковник затих.

«Случилось несчастье! — Он выдавил,— (Дабы Удар отклонить — Сокрушительный вздох), — С испугу ли,— Все-таки крикнула баба,— Иль гнили объевшись, но... Ворон издох!»

«Каналья! Ты сдохнешь, а ворон мой — умер! Он, Каркая, Славил удел палача!..» От гнева и ужаса обезумев, Хватаясь за шашку, Барон закричал: «Он был моим другом. В кровавой неволе Другого найти я уже не смогу!» — И, весь содрогаясь от гнева и боли, Он отдал приказ отступать на Ургу. Стонали степные поджарые волки, Шептались пески, Умирал небосклон... Как идол, сидел на косматой монголке, Монголом одет, Сумасшедший барон.

И шорохам ночи бессонной внимая, Он призраку гибели выплюнул: «Прочь!» И каркала вороном — Глухонемая, Упавшая сзади, Даурская ночь.

Я слышал:

В монгольских унылых улусах, Ребенка качая при дымном огне, Раскосая женщина в кольцах и бусах Поет о бароне на черном коне...

И будто бы в дни, Когда в яростной злобе Шевелится буря в горячем песке, — Огромный, Он мчит над пустынею Гоби, И ворон сидит у него на плече.

Встреча первая

Вс. Иванову

Мы — вежливы. Вы попросили спичку И протянули черный портсигар, И вот огонь — условие приличья — Из зажигалки надо высекать.

Дымок повис сиреневою ветвью. Беседуем, сближая мирно лбы, Но встреча та — скости десятилетье! — Огня иного требовала бы...

Схватились бы, коль пеши, за наганы, Срубились бы верхами, на скаку... Он позвонил. Китайцу: «Мне нарзану!» Прищурился. «И рюмку коньяку...»

Вагон стучит, ковровый пол качая, Вопит гудка басовая струна. Я превосходно вижу: ты скучаешь, И скука, парень, общая у нас.

Пусть мы враги, — друг другу мы нечужды, Как чужд обоим этот сонный быт. И непонятно, право, почему ж ты Несешь ярмо совсем иной судьбы?

Мы вспоминаем прошлое беззлобно. Как музыку. Запело и ожгло... Мы не *равны*, — но все же мы *подобны*, Как треугольники при равенстве углов. Обоих нас качала непогода. Обоих нас, в ночи, будил рожок... Мы — дети восемнадцатого года, Тридцатый год. Мы прошлое, дружок!..

Что сетовать! Всему проходят сроки, Исчезнуть, кануть каждый обряжен. Ты в чистку попадешь в Владивостоке, Меня бесптичье съест за рубежом.

Склонил ресницы, как склоняют знамя, В былых боях изодранный лоскут... «Мне, право, жаль, что вы еще не с нами». Не лгите: с кем? И... выпьем коньяку.

Цареубийцы

Мы теперь панихиды правим, С пышной щедростью ладан жжем, Рядом с образом лики ставим, На поминки Царя идем.

Бережем мы к убийцам злобу, Чтобы собственный грех загас, Но заслали Царя в трущобу Не при всех ли, увы, при нас?

Сколько было убийц? Двенадцать, Восемнадцать или тридцать пять? Как же это могло так статься — Государя не отстоять?

Только горсточка этот ворог, Как пыльцу бы его смело: Верноподданными — сто сорок Миллионов себя звало.

Много лжи в нашем плаче позднем, Лицемернейшей болтовни, — Не за всех ли отраву возлил Некий яд, отравлявший дни.

И один ли, одно ли имя, Жертва страшных нетопырей? Нет, давно мы ночами злыми Убивали своих Царей. И над всеми легло проклятье, Всем нам давит тревога грудь: Замыкаешь ли, дом Ипатьев, Некий давний кровавый путь!

Бродяга

Где ты, летняя пора, — Дунуло, и нету! Одуванчиком вчера Облетело лето.

Кружат коршунами дни Злых опустошений. Резкий ветер леденит Голые колени.

Небо точно водоем На заре бескровной. Хорошо теперь вдвоем В теплоте любовной.

Прочь, согретая душа, Теплая, как вымя: Мне приказано шуршать Листьями сухими!

Непокрытое чело, Легкий шаг по свету: Никого и ничего У бродяги нету!

Ни границы роковой, Ни препоны валкой: Ничего и никого Путнику не жалко! Я что призрак голубой На холодных росах, И со мною только мой Хромоногий посох.

«Ловкий ты и хитрый ты...»

Ловкий ты и хитрый ты, Остроглазый черт. Архалук твой вытертый О коня истерт.

На плечах от споротых Полосы погон. Не осилил спора ты Лишь на перегон.

И дичал все более, И несли враги До степей Монголии, До слепой Урги.

Гор песчаных рыжики, Зноя каминок. О колено ижевский Поломал клинок.

Но его не выбили Из беспутных рук. По дорогам гибели Мы гуляли, друг!

Раскаленный добела Отзвенел песок, Видно, время пробило Раздробить висок. Вольный ветер клонится Замести тропу... Отгуляла конница В золотом степу!

Пять рукопожатий

Ты пришел ко мне проститься. Обнял. Заглянул в глаза, сказал: «Пора!» В наше время в возрасте подобном Ехали кадеты в юнкера.

Но не в Константиновское, милый, Едешь ты. Великий океан Тысячами простирает мили До лесов Канады, до полян

В тех лесах, до города большого, Где — окончен университет! — Потеряем мальчика родного В иностранце двадцати трех лет.

Кто осудит? Вологдам и Бийскам Верность сердца стоит ли хранить?.. Даже думать станешь по-английски, По-чужому плакать и любить.

Мы — не то! Куда б ни выгружала Буря волчью костромскую рать, — Все же нас и Дурову, пожалуй, В англичан не выдрессировать.

Пять рукопожатий за неделю, Разлетится столько юных стай!.. ...Мы умрем, а молодняк поделят — Франция, Америка, Китай.

О России

Россия отошла, как пароход От берега, от пристани отходит. Печаль, как расстояние, растет. Уж лиц не различить на пароходе.

Лишь взмах платка и лишь ответный взмах. Басовое взывание сирены. И вот корма. И за кормой — тесьма Клубящейся, все уносящей пены.

Сегодня мили и десятки миль, А завтра сотни, тысячи — завеса. А я печаль свою переломил, Как лезвие. У самого эфеса.

Пойдемте же! Не возвратится вспять Тяжелая ревущая громада. Зачем рыдать и руки простирать, Ни призывать, ни проклинать — не надо.

Но по ночам — заветную строфу, Боюсь начать, изгнанием подрублен, — Упорно прорубающий тайфун, Ты близок мне, гигант четырехтрубный!

Скрипят борта. Ни искры впереди, С горы — и в пропасть!.. Но обувший уши В наушники не думает радист Бросать сигнал «Спасите наши души!» Я, как спортсмен, любуюсь на тебя (Что проиграю — дуться не причина) И думаю, по-новому любя:
— Петровская закваска... Молодчина!

«Сыплет небо щебетом...»

Сыплет небо щебетом Невидимок-птах, Корабли на небе том В белых парусах.

Важные, огромные Легкие, как дым, — Тянут днища темные Над лицом моим.

Плавно, без усилия Шествует в лазурь Белая флотилия Отгремевших бурь. 1

Под асфальт, сухой и гладкий, Наледь наших лет, — Изыскательной палатки Канул давний след...

Флаг Российский. Коновязи. Говор казаков. Нет с былым и робкой связи — Русский рок таков.

Инженер. Расстегнут ворот. Фляга. Карабин. — Здесь построим русский город. Назовем — Харбин.

Без тропы и без дороги Шел, работе рад. Ковылял за ним трехногий Нивелир-снаряд.

Перед днем Российской встряски, Через двести лет, Не Петровской ли закваски Запоздалый след?

Не державное ли слово Сквозь века: приказ. Новый город зачат снова, 2

Как чума, тревога бродит, — Гул лихих годин... Рок черту свою проводит Близ тебя, Харбин.

Взрывы дальние, глухие, Алый взлет огня,— Вот и нет тебя, Россия, Государыня!

Мало воздуха и света, Думаем, молчим. На осколке мы планеты В будущее мчим!

Скоро ль кануть иль не скоро, Сумрак наш рассей... Про запас Ты, видно, город Выстроила сей.

Сколько ждать десятилетий, Что кому беречь? Позабудут скоро дети Отческую речь. Милый город, строг и строен, Будет день такой, Что не вспомнят, что построен Русской ты рукой.

Пусть удел подобный горек, — Не опустим глаз: Вспомяни, старик-историк, Вспомяни о нас.

Ты забытое отыщешь, Впишешь в скорбный лист, Да на русское кладбище Забежит турист.

Он возьмет с собой словарик Надписи читать... Так погаснет наш фонарик, У томясь мерцать!

«Ночью думал о том, об этом...»

1

Ночью думал о том, об этом, По бумаге пером шурша, И каким-то болотным светом Тускло вспыхивала душа.

От табачного дыма горек Вкус во рту. И душа мертва. За окном же весенний дворик И над двориком — синева.

Зыбь на лужах подобна крупам Бриллиантовым — глаз рябит. И задорно над сердцем глупым Издеваются воробьи.

2

Печью истопленной воздух согрет. Пепел бесчисленных сигарет. Лампа настольная. Свет ее рыж Рукопись чья-то с пометкой: «Париж».

Лечь бы! Чтоб рядом, кругло, горячо, Женское белое грело плечо, Чтобы отрада живого тепла В эти ладони остывшие шла.

Связанный с тысячью дальних сердец, Да почему ж я один, наконец? Участь избранника? Участь глупца?.. Утро в окне, как лицо мертвеца.

Ночью

Я сегодня молодость оплакал, Спутнику ночному говоря: «Если и становится на якорь Юность, так непрочны якоря.

У нее: не брать с собой посуду И детей, завернутых в ватин... Молодость уходит отовсюду, Ничего с собой не захватив.

Верности насиженному месту, Жалости к нажитому добру — Нет у юных. Глупую невесту Позабудут и слезу утрут

По утру. И выглянут в окошко. Станция. Решительный гудок. Хобот водокачки. Будка. Кошка. И сигнал прощания — платок.

Не тебе! Тебя никто не кличет. Слез тебе вослед еще не льют: Молодость уходит за добычей, Покидая родину свою!..»

Спутник слушал, возражать готовый. Рассветало. Колокол заныл. И китайский ветер непутевый По пустому городу бродил.

Высокому окну

Этой ночью, ветреной и влажной, Грозен, как Олимп, Улыбнулся дом многоэтажный Мне окном твоим.

Золотистый четырехугольник В переплете рам,— Сколько мыслей вызвал ты невольных, Сколько тронул ран!

И, прошедший годы отрицанья, Все узлы рубя,— Погашу ли робкое сиянье, Зачеркну ль тебя?

О стихи, привычное витийство, Скользкая стезя, Если рифма мне самоубийство, Отойти нельзя!

Ибо если клятвенность нарушу Этому окну, — Зачеркну любовь мою и душу Тоже зачеркну.

И всегда надменный и отважный, Робок я и хром Перед домом тем многоэтажным, Пред твоим окном.

Орбита

Ты, молчаливый, изведал много, Ты, недоверчивый, был умен, С лучшими мира ты видел Бога, С самыми страшными был клеймен.

Знающий, — самое лучшее смерть лишь, Что ж не прикажешь себе: — Ложись! Окнам безлюдным позорно вертишь Злую шарманку, чье имя — жизнь.

Пыльны цветы на кустах акаций. Смят одуванчик под теркой ног... Твой дьяволенок посажен на цепь, — Вырасти в дьявола он не смог.

Что же, убей его, выйдя к Богу, Выбери схиму из чугуна, Мерно проламывая дорогу, Как спотыкающаяся луна.

Будешь светить ты неярким светом, Где-то воруя голубизну, И завершишь небольшим поэтом Закономерную кривизну.

Родина

От ветра в ивах было шатко. Река свивалась в два узла. И к ней мужицкая лошадка Возок забрызганный везла.

А за рекой, за ней, в покосах, Где степь дымила свой пустырь, Вставал в лучах еще раскосых Зарозовевший монастырь.

И ныло отдаленным гулом Почти у самого чела, Как бы над кучером сутулым Вилась усталая пчела.

И это утро, обрастая Тоской, острей которой нет, — Я снова вижу из Китая Почти через двенадцать лет.

1932

Разведчики

Всеволоду Иванову

На чердаке, где перья и помет, Где в щели блики щурились и гасли, Поставили треногий пулемет В царапинах и синеватом масле.

Через окно, куда дымился шлях, Проверили по всаднику наводку И стали пить из голубых баклаг Согретую и взболтанную водку.

Потом... Икающе захлебывалась речь Уродца на треноге в слуховуше... Уже никто не мог себя сберечь, И лишь во рту все становилось суше...

И рухнули, обрушившись в огонь, Который вдруг развеял ветер рыжий. Как голубь, взвил оторванный погон И обогнал, крутясь, обломки крыши.

...Но двигались лесами корпуса Вдоль пепелищ, по выжженному следу, И облака раздули паруса, Неся вперед тяжелую победу.

Воля

Загибает гребень у волны, Обнажает винт до половины, И свистящей скорости полны Ветра загремевшего лавины.

Но котлы, накаливая бег, Ускоряют мерный натиск поршней, И моряк, спокойный человек, Зорко щурится из-под пригоршни.

Если ветер лодку оторвал, Если вал обрушился и вздыбил, — Опускает руку на штурвал Воля, рассекающая гибель.



Николай Авдеевич Оцуп 1894–1958



«Где снегом занесенная Нева...»

Где снегом занесенная Нева, И голод, и мечты о Ницце, И узкими шпалерами дрова, Последние в столице.

Год восемнадцатый и дальше три, Последних в жизни Гумилева... Не жалуйся, на прошлое смотри Не говоря ни слова.

О, разве не милее этих роз У южных волн для сердца было То, что оттуда в ледяной мороз Сюда тебя манило.

«Счет давно уже потерян...»

Счет давно уже потерян. Всюду кровь и дальний путь. Уцелевший не уверен— Надо руку ущипнуть.

Все тревожно. Шорох сада. Дома спят неверным сном «Отворите!» Стук приклада, Ветер, люди с фонарем.

Я не проклинаю эти Сумасшедшие года. Все явилось в новом свете Для меня, и навсегда.

> Мирных лет и не бывало, Это благодушный бред. Но бывает слишком мало Тех — обыкновенных бед.

И они, скопившись, лавой Ринутся из всех щелей, Озаряя грозной славой Тех же маленьких людей.

«Я много проиграл. В прихожей стынут шубы...»

Я много проиграл. В прихожей стынут шубы. Досадно и темно. Мороз и тишина. Но что за нежные застенчивые губы, Какая милая неверная жена.

Покатое плечо совсем похолодело, Не тканью дымчатой прохладу обмануть. Упорный шелк скрипит. Угадываю тело. Едва прикрытую, вздыхающую грудь.

Пустая комната. Зеленая лампадка. Из зала голоса — кому-то повезло: К семерке два туза, четвертая девятка! И снова тишина. Метелью замело

Блаженный поцелуй. Глубокий снег синеет, С винтовкой человек зевает у костра. Люблю трагедию: беда глухая зреет И тяжко падает ударом топора.

А в жизни легкая комедия пленяет — Любовь бесслезная, развязка у ворот. Фонарь еще горит и тени удлиняет. И солнце мутное в безмолвии растет.

«Вот барина оставили без шубы...»

Вот барина оставили без шубы. «Жив, слава Богу», и побрел шажком, Глаза слезятся, посинели губы. Арбат и пули свист за фонарем.

Опять Монмартр кичится кабачками: Мы победили, подивитесь нам — И нищий немец на Курфюрстендаме Юнцов и девок сводит по ночам.

Уже зевота заменяет вздохи, Забыты все убитые в бою, Но поздний яд сомнительной эпохи Еще не тронул молодость твою.

Твой стан печальной музыки нежнее, Темны глаза, как уходящий день, Лежит, как сумрак, на высокой шее Рассеянных кудрей двойная тень.

Я полюбил, как я любить умею. Пусть вдохновение поможет мне Сквозь этот мрак твое лицо и шею На будущего белом полотне.

Отбросить светом удесятеренным, Чтоб ты живой осталась навсегда, Как Джиоконда. Чтобы только фоном Казались наши мертвые года.

«Я поражаюсь уродливой цельности...»

Я поражаюсь уродливой цельности В людях, и светлых, и темных умом, Как мне хотелось бы с каждым в отдельности Долго беседовать только о нем.

Хочется слушать бесчестность, безволие — Все, что раскроется, если не лгать; Хочется горя поглубже, поболее — О, не учить, не казнить — сострадать.

Слушаю я человека и наново Вижу без злобы, что нитью одной Образы вечного и постоянного Спутаны с мукой моей и чужой.

«Есть свобода — умирать...»

Есть свобода — умирать С голоду, свобода В неизвестности сгорать И дряхлеть из года в год. Мало ли еще свобод Все того же рода. Здесь неволя Наша доля. Но воистину блаженна, Вдохновенна, несомненна, Как ни трудно, как ни больно, Вера, эта форма плена, Выбранного добровольно.



Владимир Александрович Петрушевский 1891–1961



Я поздно родился...

Я поздно родился — на целое столетье! Моей душе мила седая старина: Тогда б не видел я годины лихолетья, А славу родины и дни Бородина. Тогда б, вступив в Париж, где русские знамена Так гордо реяли, забыв Москвы пожар, Поставил часовых в дворце Наполеона Из бравых усачей и доблестных гусар.

В бою перед врагом не ведая бы страха, Я б на защитный цвет смотрел как на обман, И в дни лихих атак, как и во дни Кацбаха, Всегда б горел на мне блестящий доломан. Честь рыцаря храня, не ведал бы о газе, Мой враг бы не взлетал, как хищник, в облака, И на груди моей, как трещины на вазе, Покоились следы дамасского клинка.

Тогда б не видел я печальных дней «свободы», Всю грязь предательства и весь позор измен, Кошмарный большевизм и униженья годы, И голод на Руси и всенародный плен. Тогда б не слышал джаз, не видел бы чарльстона, Из недра Африки прокравшегося в свет, А под любимый звук «малинового звона» Мазурку б танцевал иль плавный менуэт.

И жизнь моя была б так сказочно прекрасна, Я знал бы цель ее — Россия, Царь и Бог! И если б умер я, то умер не напрасно, За родину в бою отдав последний вздох.

Тогда б я не влачил печальных дней изгоя, Как тень минувшего, как «бывший» человек, А гордо бы стоял в рядах родного строя... Я поздно родился, я опоздал на век!

Дорогой, всегда любимой

Ни за звонкий металл, ни за блага земли Я тебе изменить не желаю, И где предки мои родились и росли Там душою своей я витаю.

Где могилы отцов, где могилы друзей, Павших в честных боях со врагами, Там не может не быть у скитальца связей Он прикован к стране той цепями.

За тебя ль не учил я молитвы читать И шептал их устами дитяти! За тебя ли не шел на войну умирать И в рядах нашей доблестной рати!

Не тебе ли я клялся служить до конца, Защищать твои счастье и славу, И уехал в изгнанье по воле Творца После долгой борьбы я на Яву?

За тебя ль не готов еще раз на борьбу, И, не зная душою покоя, Я несу на плечах роковую судьбу Революции русской изгоя?

И в чужой стороне, где созвездье Креста Блещет ночью на чуждом мне небе, О тебе ль не молю Милосердца Христа Прежде, чем о насущном мне хлебе? Ты распята, как Он, за чужие грехи, Но наступит еще воскресение! И краснеть будут те, кто сменили вехи, Кто не верил в твое возрождение.

Нет! За звонкий металл и за блага земли Я обетов своих не нарушу, И за храмы твои, за святые кремли Я отдам свою русскую душу.

«"Февраль и Март" — вы дети сатаны…»

«Февраль и Март» — вы дети сатаны И внуки бабушек и дедов революций. Народом вы давно осуждены, Нам выносить не надо резолюций.

Мы знаем все. Господь нас спас не зря, Не восхвалять пришли мы «достиженья» Родителей законных «октября», А указать на ваши преступленья.

«Кровавый Царь»... Кто так дерзнет сказать, Вкусивши плод «великой и бескровной»? Да, Он в крови, в крови Россия-мать, Повсюду кровь, до паперти церковной!

Февраль и Март — вы смерть святой Руси, Ее вы отдали, как жертву, на закланье. Творец миров, не гневайся, спаси! Верни Царя и прекрати страданья!

Их императорским, высочествам августейшим дочерям Государя

От рук проклятых и ужасных Погибнуть были вы должны, Четыре девушки прекрасных, Четыре Русские Княжны.

Одна была вина за вами: Любовью к родине горя, Ее вы были дочерями, Как дщери Русского Царя.

Ваш взгляд молитвенно-лучистый, Последний в жизни взгляд очей, Сказал, что вы душою чистой Простить сумели палачей.

Последний вздох... Утихли слезы... Исчезла жизни суета... Четыре царственные розы Прошли чрез райские врата.

Ноябрь 1923.

Наступит день...

Наступит день, я верю в это — День смерти призрачных свобод, «Христос воскресе» среди лета От счастья запоет народ.

Он разорвет обмана сети, Ему простится кровь Царя, И став душою чист, как дети, Он жизнь начнет, добро творя.

Закроет Русь грехов страницу, Залечит язвы старых ран И сменит горя власяницу На пышный счастья сарафан.

Царь Всероссийский и природный Взойдет на прадедовский трон И к общей радости народной Воскреснут Правда и Закон.

Вновь будет крест сиять в Столице, Как славы Божьей ореол, А на столбах Руси границы, Как прежде — Царственный Орел.

«Если порою взгрустнется...»

Если порою взгрустнется, Ляжет на сердце печаль, Дума стрелой пронесется К Северу милому, вдаль. Где вы, поля золотые Богом забытой страны? Кто погрузил вас, родные, В эти печальные сны? Сколько народа побито, Пролито крови и слез? Вся ты печалью повита В прахе разрушенных грез... Только и дышишь в надежде — Вспрянет родная страна, И засверкает, как прежде, В солнечном блеске она. Темная ночь пронесется, Снова заблещут кресты, Божия милость прольется С синих небес высоты. Снова янтарною рожью Пахарь наполнит гумно, Снова по-русски, по Божьи, Будет нам жить суждено.

Завет

Я умру, как и все в поднебесной, В Богом точно назначенный год, И в могиле, глубокой и тесной, Свой последний закончу поход.

Мне цветов на могилу не надо — Лучше горсточка Русской земли, То для воина будет награда: Мнить себя от родной не вдали.

Чтоб Небесная Сила хранила, Положите на грудь образок, Русский флаг, что душа так любила, И заройте в прибрежный песок.

Его множество раз целовала И ласкала морская волна, Та, что с Севера к нам забегала Из краев, где родная страна.

Для могилы из травки ограда Да из дерева крест хороши. Монумента над нею не надо — Лучше дать инвалидам гроши.

Все равно не вспомянет потомок, Что лежит здесь России певец, Для него я былого обломок Да печальной страницы конец. Но когда разойдутся туманы, Станет Русь наша снова святой, Рифм воздушных моих караваны Кто-нибудь да прочтет со слезой.

1955



Иван Савин 1899–1927



«Оттого высоки наши плечи...»

Оттого высоки наши плечи, А в котомках акриды и мед, Что мы, грозной дружины предтечи, Славословим крестовый поход.

Оттого мы в служенье суровом К Иордану святому зовем, Что за нами, крестящими словом, Будет Воин, крестящий мечом.

Да взлетят белокрылые латы! Да сверкнет золотое копье! Я, немеркнущей славы глашатай, Отдал Господу сердце свое.

Да приидет! Высокие плечи Преклоняя на белом лугу, Я походные песни, как свечи, Перед ликом России зажгу.

Колыбельная

Брату Николаю

Тихо так. Пустынно. Звездно. Степь нахмуренная спит Вся в снегах. В ночи морозной Где-то филин ворожит. Над твоей святой могилой Я один, как страж, стою... Спи, мой мальчик милый, Баюшки-баю!..

Я пришел из дымной дали, В день твой памятный принес Крест надгробный, что связали Мы тебе из крупных слез. На чужбине распростертый, Ты под ним — в родном краю... Спи, мой братик мертвый, Баюшки-баю...

В час, когда над миром будет Снова слышен Божий шаг, Бог про верных не забудет; Бог придет в ваш синий мрак, Скажет властно вам: Проснитесь! Уведет в семью Свою... Спи ж, мой белый витязь, Баюшки-баю...

«Не бойся, милый. Это я...»

Брату Борису

Не бойся, милый. Это я. Я ничего тебе не сделаю. Я только обовью тебе, Как саваном, печалью белою.

Я только выну злую сталь Из ран запекшихся. Не странно ли: Еще свежа клинка эмаль.

А ведь с тех пор три года канули. Поет ковыль. Струится тишь. Какой ты бледный стал и маленький! Все о семье своей грустишь

И рвешься к ней из вечной спаленки! Не надо. В ночь ушла семья. Ты в дом войдешь, никем не встреченный.

Не бойся, милый, это я Целую лоб твой искалеченный.

«Законы тьмы неумолимы...»

Законы тьмы неумолимы. Непререкаем хор судеб. Все та же гарь, все те же дымы, Все тот же выплаканный хлеб.

Рука протянутая молит О капле солнца. Но сосуд Небесной милостыни пролит. Но близок нелукавый суд.

Рука дающего скудеет: Полмира по миру пошло... И снова гарь, и вновь тускнеет Когда-то светлое чело.

Мне недруг стал единоверцем: Мы все, кто мог и кто не мог, Маячим выветренным сердцем На перекрестках всех дорог.

Сегодня лед дорожный ломок, Назавтра злая встанет пыль, Но так же жгуч ремень котомок И тяжек нищенский костыль.

А были буйные услады И гордой молодости лёт... Подайте жизни, Христа ради, Рыдающему у ворот!

У последней черты

И. Бунину

По дюнам бродит день сутулый, Ныряя в золото песка. Едва шуршат морские гулы, Едва звенит Сестра-река.

Граница. И чем ближе к устью, К береговому янтарю, Тем с большей нежностью и грустью России «здравствуй» говорю.

Там, за рекой, все те же дюны, Такой же бор к волнам сбежал, Все те же древние Перуны Выходят, мнится, из-за скал.

Но жизнь иная в травах бьется И тишина еще слышней, И на кронштадтский купол льется Огромный дождь иных лучей.

Черкнув крылом по глади водной, В Россию чайка уплыла — И я крещу рукой безродной Пропавший след ее крыла.

«Все это было. Путь один...»

Все это было. Путь один У черни нынешней и прежней, Лишь тени наших гильотин Длинней упали и мятежней.

И бьется в хохоте и мгле Напрасной правды нашей слово Об убиенном короле И мальчиках Вандеи новой.

Всея кровь с парижских площадей, С камней и рук легенда стерла, И сын убогий предал ей Отца раздробленное горло.

Все это будет. В горне лет И смрад, и блуд, царящий ныне, Расплавятся в обманный свет. Петля отца не дрогнет в сыне.

И крови нашей страшный грунт Засеяв ложью, шут нарядный Увьет цветами — русский бунт, Бессмысленный и беспощадный...

«Кто украл мою молодость, даже...»

Кто украл мою молодость, даже Не оставил следа у дверей? Я рассказывал Богу о краже, Я рассказывал людям о ней.

Я на паперти бился о камни. Правды скоро не выскажет Бог. А людская неправда дала мне Перекопский полон да острог.

И хожу я по черному свету, Никогда не бывав молодым, Небывалую молодость эту По следам догоняя чужим.

Увели ее ночью из дому На семнадцатом детском году. И по-вашему стал, по-седому, Глупый мальчик метаться в бреду.

Были слухи — в остроге сгорела, Говорили — пошла по рукам... Всю грядущую жизнь до предела За года молодые отдам!

Но безмолвен ваш мир отснявший. Кто ответит? В острожном краю Скачет выжженной степью укравший Неневестную юность мою.

«Ты кровь их соберешь по капле, мама...»

Братьям моим Михаилу и Павлу

Ты кровь их соберешь по капле, мама, И, зарыдав у Богоматери в ногах, Расскажешь, как зияла эта яма, Сынами вырытая в проклятых песках.

Как пулемет на камне ждал угрюмо, И тот, в бушлате, звонко крикнул: «Что, начнем!» Как голый мальчик, чтоб уже не думать, Над ямой стал и горло проколол гвоздем.

Как вырвал пьяный конвоир лопату Из рук сестры в косынке и сказал: «Ложись», Как сын твой старший гладил руки брату, Как стыла под ногами глинистая слизь.

И плыл рассвет ноябрьский над туманом, И тополь чуть желтел в невидимом луче, И старый прапорщик, во френче рваном, С чернильной звездочкой на сломанном плече,

Вдруг начал петь — и эти бредовые Мольбы бросал свинцовой брызжущей струе: Всех убиенных помяни, Россия, Егда приидеши во царствие Твое...



Игорь Северянин 1887–1941



Отходная Петрограду

За дряхлой Нарвой, верст за двести, Как окровавленный пират, Все топчется на топком месте Кончающийся Петроград.

Кошмарный город — привиденье! Мятежный раб! живой мертвец! Исполни предопределенье: Приемли страшный свой конец!

В молитвах твоего литурга Нет о твоем спасеньи просьб. Ты мертв со смертью Петербурга, — Мечты о воскресеньи брось.

Эпоха твоего парада — В сияньи праздничных дворцов. Нет ничего для Петрограда: О, город — склеп для мертвецов!

Твоя пугающая близость — Над нами занесенный нож. Твои болезни, голод, сырость — Вот чем ты власть свою умножь!..

Ты проклят. Над тобой проклятья. Ты точно шхуна без руля. Раскрой же топкие объятья, Держащая тебя земля.

И пусть фундаментом другому Красавцу-городу гранит Пребудет твой: пусть по-иному Тебя Россия сохранит...

1918 — VII

Конечное ничто

С ума сойти — решить задачу: Свобода это иль мятеж? Казалось, все сулит удачу, — И вот теперь удача где ж?

Простор лазоревых теорий, И практика — мрачней могил... Какая ширь была во взоре! Как стебель рос! и стебель сгнил...

Как знать: отсталость ли европья? Передовитость россиян? Натура ль русская — холопья? Сплошной кошмар. Сплошной туман.

Изнемогли в противоречьях. Не понимаем ничего. Все грезим о каких-то встречах — Но с кем, зачем и для чего?

Мы призраками дуализма Приведены в такой испуг, Что даже солнечная призма Таит грозящий нам недуг.

Грядет Антихрист? не Христос ли? Иль оба вместе? раньше — кто? Сначала тьма? не свет ли после? Иль погрузимся мы в ничто?

Я мечтаю...

Я мечтаю о том, чего нет И чего я, быть может, не знаю.. Я мечтаю, как истый поэт, — Да, как истый поэт, я мечтаю.

Я мечтаю, что в зареве лет Ад земной уподобится раю. Я мечтаю, вселенский поэт, — Как вселенский поэт, я мечтаю.

Я мечтаю, что Небо от бед Избавленье даст русскому краю. Оттого, что я — русский поэт, Оттого я по-русски мечтаю!

Их образ жизни

Чем эти самые живут, Что вот на паре ног проходят? Пьют и едят, едят и пьют — И в этом жизни смысл находят...

Надуть, нажиться, обокрасть, Растлить, унизить, сделать больно... Какая ж им иная страсть? Ведь им и этого довольно!

И эти-то, на паре ног, Так называемые люди «Живут себе»... И имя Блок Для них, погрязших в мерзком блуде, Бессмысленный, нелепый слог...

Не по пути

И понял я, вернувшись к морю, Из экс-властительной страны, Что я «культурой» лишь позорю Свои лазоревые сны.

Что мне не по пути с «культурой». Утонченному дикарю, Что там всегда я буду хмурый, Меж тем как здесь всегда горю.

Что механическому богу
Не мне стремиться на поклон.
Свою тернистую дорогу
И свой колеблющийся трон
Не променяю на иные.
Благословенны вы, леса,
Мне близкие, мои родные,
Где муз святые голоса!

1923

Тойла

Моя Россия

И вязнут спицы расписные В расхлябанные колеи...

Ал. Блок

Моя безбожная Россия, Священная моя страна! Ее равнины снеговые, Ее цыгане кочевые,— Ах, им ли радость не дана? Ее порывы огневые, Ее мечты передовые, Ее писатели живые, Постигшие ее до дна! Ее разбойники святые, Ее полеты голубые, И наше солнце, и луна! И эти земли неземные, И эти бунты удалые, И вся их, вся их глубина! И соловьи ее ночные, И ночи пламно-ледяные, И браги древние хмельные, И кубки, полные вина! И тройки бешено-степные, И эти спицы расписные, И эти сбруи золотые, И крыльчатые пристяжные. Их шей лебяжья крутизна! И наши бабы избяные, И сарафаны их цветные, И голоса девиц грудные Такие русские, родные, И молодые, как весна,

И разливные, как волна, И песни, песни разрывные, Какими наша грудь полна, И вся она, и вся она — Моя ползучая Россия, Крылатая моя страна!

Бессмертным

Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! — Могущественные слова!.. И не от них ли на опушке Нам распускается листва?

И молодеет не от них ли Стареющая молодежь?.. И не при них ли в душах стихли Зло, низость, ненависть и ложь!

Да, светозарны и лазорны, Как ты, весенняя листва, Слова, чьи звуки чудотворны, Величественные слова!

При звуках тех теряет даже Свой смертоносный смысл в дали Веков дрожащая в продаже Посредственная Natalie...

При них, как перед вешним лесом, Оправдываешь, не кляня, И богохульный флёрт с Дантесом — Змею Олегова коня...

На смерть Валерия Брюсова

Как жалки ваши шиканье и свист Над мертвецом, бессмертием согретым: Ведь этот «богохульный коммунист» Был в творчестве божественным поэтом!

Поэт играет мыслью, как дитя, — Ну, как в солдатики играют дети... Он зачастую шутит, не шутя, И это так легко понять в поэте...

Он умер оттого, что он, поэт, Увидел музу в проститутском гриме. Он умер оттого, что жизни нет, А лишь марионетковое джимми...

Нас, избранных, все меньше с каждым днем: Умолкнул Блок, не слышно Гумилева. Когда ты с ним останешься вдвоем, Прости его, самоубийца Львова...

Душа скорбит. Поникла голова. Смотрю в окно: лес желт, поля нагие. Как выглядит без Брюсова Москва? Не так же ли, как без Москвы — Россия?

16 октября 1924

Jarve

Классические розы

Как хороши, как свежи были розы В моем саду! Как взор прельщали мой! Как я молил весенние морозы Не трогать их холодною рукой!

Мятлев. 1843

В те времена, когда роились грезы В сердцах людей, прозрачны и ясны, Как хороши, как свежи были розы Моей любви, и славы, и весны!

Пошли лета, и всюду льются слезы... Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи ныне розы Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут — уже стихают грозы. Вернуться в дом Россия ищет троп... Как хороши, как свежи будут розы, Моей страной мне брошенные в гроб!

Что нужно знать

Ты потерял свою Россию. Противоставил ли стихию Добра стихии мрачной зла? Нет? Так умолкни: увела Тебя судьба не без причины В края неласковой чужбины. Что толку охать и тужить — Россию нужно заслужить!

И будет вскоре...

И будет вскоре весенний день, И мы поедем домой, в Россию... Ты шляпу шелковую надень: Ты в ней особенно красива...

И будет праздник... большой, большой, Каких и не было, пожалуй, С тех пор, как создан весь шар земной, Такой смешной и обветшалый...

И ты прошепчешь: «Мы не во сне?..» Тебя со смехом ущипну я И зарыдаю, молясь весне И землю русскую целуя!

Предгневье

Москва вчера не понимала, Но завтра, верь, поймет Москва: Родиться русским — слишком мало, Чтоб русские иметь права...

И, вспомнив душу предков, встанет, От слова к делу перейдя, И гнев в народных душах грянет, Как гром живящего дождя.

И сломит гнет, как гнет ломала Уже не раз повстанцев рать... Родиться Русским — слишком мало: Им надо быть, им надо стать!

Отечества лишенный

Была у тебя страна, И был у тебя свой дом, Где ты со своей семьей Лелеял побеги роз... Но родины не ценя, Свой дом не сумев сберечь, И мало любя семью, Ты все потерял — был день, Зачем же теперь видна Во взоре тоска твоем, И в чуждом краю зимой Ты бродишь и наг, и бос? И ждешь — не дождешься дня Услышать родную речь И, сев на свою скамью, Смотреть на сгоревший пень?.. И снова сажать ростки, И снова стругать бревно, И, свадьбу опять сыграв, У Неба молить детей, — Чтоб снова в несчастный час, Упорной страшась борьбы, Презренным отдать врагам И розы, и честь, и дом... Глупец! от твоей тоски Заморским краям смешно, И сетовать ты не прав, Посмешище для людей... Живи же, у них учась Царем быть своей судьбы!.. — Стихи посвящаю вам, Всем вам, воплощенным в «нем»!

Стихи Москве

Мой взор мечтанья оросили: Вновь — там, за башнями Кремля, Неподражаемой России Незаменимая земля.

В ней и убогое богато, Полны значенья пустячки: Княгиня старая с Арбата Читает Фета сквозь очки...

А вот к уютной церковушке Подъехав в щегольском «купэ», Кокотка оделяет кружки, Своя в тоскующей толпе...

И ты, вечерняя прогулка На тройке вдоль Москвы-реки! Гранитного ли переулка Радушные особняки...

И там, в одном из них, где стайка Мечтаний замедляет лёт, Московским солнышком хозяйка Растапливает «невский лед»...

Мечты! вы — странницы босые, Идущие через поля, — Неповергаемой России Незаменимая земля!

Народный суд

Я чувствую, близится судное время: Бездушье мы духом своим победим, И в сердце России пред странами всеми Народом народ будет грозно судим.

И спросят избранники — русские люди — У всех обвиняемых русских людей, За что умертвили они в самосуде Цвет яркий культуры отчизны своей.

Зачем православные Бога забыли, Зачем шли на брата, рубя и разя... И скажут они: «Мы обмануты были, Мы верили в то, во что верить нельзя...»

И судьи умолкнут с печалью любовной, Поверив себя в неизбежный черед, И спросят: «Но кто же зачинщик виновный?» И будет ответ: «Виноват весь народ.

Он думал о счастье отчизны родимой, Он шел на жестокость во имя Любви...» И судьи воскликнут: «Народ подсудимый! Ты нам не подсуден: мы — братья твои!

Мы — часть твоя, плоть твоя, кровь твоя, грешный, Наивный, стремящийся вечно вперед, Взыскующий Бога в Европе кромешной, Счастливый в несчастье, великий народ!»

Слова солнца

Много видел я стран и не хуже ее — Вся земля мною нежно любима. Но с Россией сравнить?.. С нею — сердце мое, И она для меня несравнима!

Чья космична душа, тот плохой патриот: Целый мир для меня одинаков... Знаю я, чем могуч и чем слаб мой народ, Знаю смысл незначительных знаков...

Осуждая войну, осуждая погром, Над народностью каждой насилье, Я Россию люблю — свой родительский дом — Даже с грязью со всею и пылью...

Мне немыслима мысль, что над мертвою — тьма... Верю, верю в ее воскресенье Всею силой души, всем воскрыльем ума, Всем огнем своего вдохновенья!

Знайте, верьте: он близок, наш праздничный день, И не так он уже за горами — Огласится простор нам родных деревень Православными колоколами!

И раскается темный, но вещий народ В прегрешеньях своих перед Богом. Остановится прежде, чем в церковь войдет, Нерешительно перед порогом...

И в восторге метнув в воздух луч, как копье Золотое, слова всеблагие, Скажет солнце с небес: «В воскресенье свое Всех виновных прощает Россия!»

1925, март

Пасха в Петербурге

Гиацинтами пахло в столовой, Ветчиной, куличом и мадерой, Пахло вешнею Пасхой Христовой, Православною русскою верой.

Пахло солнцем, оконною краской И лимоном от женского тела, Вдохновенно-веселою Пасхой, Что вокруг колокольно гудела.

И у памятника Николая Перед самой Большою Морскою, Где была из торцов мостовая, Просмоленною пахло доскою.

Из-за вымытых к Празднику стекол, Из-за рам без песка и без ваты Город топал, трезвонил и цокал, Целовался, восторгом объятый.

Было сладко для чрева и духа. Юность мчалась, цветы приколовши. А у старцев, хотя было сухо, Шубы, вата в ушах и галоши...

Поэтичность религии, где ты? Где поэзии религиозность? Все «бездельные» песни пропеты, «Деловая» отныне серьезность...

Пусть нелепо, смешно, глуповато Было в годы мои молодые, Но зато было сердце объято Тем, что свойственно только России!

Зеленое небо

Как царство средь царства, стоит монастырь. Мирские соблазны вдали за оградой. Но как же в ограде — сирени кусты, Что дышат по веснам мирскою отрадой?

И как же от взоров не скрыли небес, — Надземных и, значит, земнее земного, — В которые стоит всмотреться тебе, И все человеческим выглядит снова!

Десять лет

Десять лет — грустных лет! — как заброшен в приморскую глушь я.

Труп за трупом духовно родных. Да и сам полутруп. Десять лет — страшных лет! — удушающего равнодушья Белой, красной — и розовой! — русских общественных групп.

Десять лет! — тяжких лет! — обескрыливающих лишений, Унижений щемящей и мозг шеломящей нужды. Десять лет — грозных лет! — сатирических строф по мишени Человеческой бесчеловечной и вечной вражды.

Десять лет — странных лет! — отреченья от многих привычек, На теперешний взгляд — мудро-трезвый — ненужно-дурных... Но зато столько ж лет рыб, озер, перелесков, и птичек, И встречанья у моря ни с чем не сравнимой весны!

Но зато столько ж лет, лет невинных, как яблоней белых Неземные цветы, вырастающие на земле, И стихов из души, как природа, свободных и смелых, И прощенья в глазах, что в слезах, и — любви на челе!

В пути

Иду, и с каждым шагом рьяней Верста к версте — к звену звено. Кто я? Я — Игорь Северянин, Чье имя смело, как вино!

И в горле спазмы упоенья. И волоса на голове Приходят в дивное движенье, Как было некогда в Москве...

Там были церкви златоглавы И души хрупотней стекла. Там жизнь моя в расцвете славы, В расцвете славы жизнь текла.

Вспененная и золотая! Он горек, мутный твой отстой. И сам себе себя читая, Версту глотаю за верстой!

4 октября 1928

Осенние листья

Осеню себя осенью — в дальний лес уйду. В день туманный и серенький подойду к пруду. Листья, точно кораблики, на пруде застыв, Ветерка ждут попутного, но молчат кусты. Листья мокрые, легкие и сухие столь, Что возьмешь их — ломаются поперек и вдоль. Не исчезнуть скоробленным никуда с пруда: Ведь она ограничена, в том пруде вода. Берега всюду топкие с четырех сторон. И кусты низкорослые стерегут их сон. Листья легкие-легкие, да тяжел удел: У пруда они выросли и умрут в пруде...

На Эмбахе

Ее весны девятой голубые Проказливо глаза глядят в мои. И лилию мне водяную Ыйэ Протягивает белую: «Прими...»

Но, как назло, столь узкая петлица, Что сквозь нее не лезет стебелек. Пока дитя готово разозлиться, Я — в лодку, и на весла приналег...

Прощай! И я плыву без обещаний Ее любить и возвратиться к ней: Мне все и вся заменит мой дощаник, Что окунается от окуней...

Но и в моем безлюдье есть людское, Куда бы я свой якорь ни бросал: Стремят крестьян на озеро Чудское Их барж клокочущие паруса.

Взъерошенная голова космата И взъерепененная борода. И вся река покрыта лаком «мата», В котором Русь узнаешь без труда...

Тишь двоякая

Высокая стоит луна. Высокие стоят морозы. Далекие скрипят обозы. И кажется, что нам слышна Архангельская тишина.

Она слышна, — она видна: В ней всхлипы клюквенной трясины, В ней хрусты снежной парусины, В ней тихих крыльев белизна — Архангельская тишина.

Бывают дни...

Бывают дни: я ненавижу Свою отчизну — мать свою. Бывают дни: ее нет ближе, Всем существом ее пою.

Все, все в ней противоречиво, Двулико, двуедино в ней, И дева, верящая в диво Надземное, — всего земней.

Как снег — миндаль. Миндальны зимы. Гармошка — и колокола. Дни дымчаты. Прозрачны дымы. И вороны — и сокола.

Слом Иверской часовни. Китеж. И ругань-мать, и ласка-мать... А вы-то тщитесь, вы хотите Ширококрайнюю объять!

Я — русский сам и что я знаю? Я падаю. Я в небо рвусь. Я сам себя не понимаю, А сам я — вылитая Русь!

Ночь под 1930-й год

Искренний романс

Оправдаешь ли ты — мне других оправданий не надо! — Заблужденья мои и метанья во имя Мечты? В непробуженном сне напоенного розами сада, Прижимаясь ко мне, при луне, оправдаешь ли ты?

Оправдаешь ли ты за убитые женские души, Расцветавшие мне под покровом ночной темноты? Ах, за все, что я в жизни руками своими разрушил, Осмеял, оскорбил и отверг, оправдаешь ли ты?

Оправдаешь ли ты, что опять, столько раз разуверясь, Я тебе протянул, может статься, с отравой цветы, Что, быть может, и ты через день, через год или через Десять лет станешь чуждой, как все, оправдаешь ли ты?

11 июля 1933

Здесь — не здесь

Я — здесь, но с удочкой моя рука, Где льет просолнеченная река Коричневатую свою волну По гофрированному ею дну.

Я — здесь, но разум мой... он вдалеке, На обожаемой моей реке, Мне заменяющей и всё и вся, Глаза признательные орося...

Я — здесь, не думая и не дыша... А испускающая дух душа На ней, не сравниваемой ни с чем Реке, покинутой... зачем? зачем?...

14 октября 1935

Грустный опыт

Я сделал опыт. Он печален. Чужой останется чужим. Пора домой; залив зеркален, Идет весна к дверям моим.

Еще одна весна. Быть может, Уже последняя. Ну что ж, Она постичь душе поможет, Чем дом покинутый хорош.

Имея свой, не строй другого. Всегда довольствуйся одним. Чужих освоить бестолково: Чужой останется чужим.

2 апреля 1936

Наболевшее...

Нет, я не беженец, и я не эмигрант, — Тебе, родительница, русский мой талант, И вся душа моя, вся мысль моя верна Тебе, на жизнь меня обрекшая страна!..

Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой: Не предавал тебя ни мыслью, ни душой, А если в чуждый край физически ушел, Давно уж понял я, как то нехорошо...

Страх перед голодом за мать и за семью Заставил родину меня забыть мою, А тут вдобавок роковая эта лень, Так год за годом шел, со днем сливался день.

Домой вернуться бы: не очень сладко тут. Да только дома мой поступок как поймут? Как объяснят его? Неловко как-то — ах, Ведь столько лет, ведь столько лет я был в бегах!

Из ложной гордости, из ложного стыда Я сам лишил себя живящего труда — Труда строительства — и жил как бы во сне, От счастья творческой работы в стороне.

Мне не в чем каяться, и все же каюсь я: Меня не ценят зарубежные края. Здесь вдохновенность обрекается на склеп. Здесь в горле застревает горький хлеб.

Я смалодушничал, — и вот мне поделом: Поэту ль в мире жить пригодном лишь на слом? За опрометчивый, неосторожный шаг Уже пришиблена навек моя душа.

И уж не поздно ли вернуться по домам, Когда я сам уже давным-давно не сам, Когда чужбина доконала мысль мою, — И как, Россия, я тебе и что спою?

26 октября 1939



Владимир Алексеевич Смоленский 1901–1961



«Над Черным морем, над белым Крымом...»

Над Черным морем, над белым Крымом Летела слава России дымом. Над голубыми полями клевера Летели горе и гибель с Севера. Летели русские пули градом, Убили друга со мною рядом, И Ангел плакал над мертвым ангелом... Мы уходили за море с Врангелем.

«Кричи не кричи — нет ответа...»

Кричи не кричи — нет ответа, Не увидишь — гляди не гляди, Но все же ты близко, ты где-то У самого сердца в груди. Россия, мы в вечном свиданьи, Одним мы усильем живем, Твое ледяное дыханье В тяжелом дыханье моем. Меж нами подвалы и стены, И годы, и слезы, и дым, Но вечно, не зная измены, В глаза мы друг другу глядим. Россия, как страшно, как нежно, В каком неземном забытьи Глядят в этот мрак безнадежный Небесные очи твои.

«Осталось немного — мириады в прозрачной пустыне...»

Осталось немного — мириады в прозрачной пустыне, Далекие звезды и несколько тоненьких книг. Осталась мечта, что тоской называется ныне, Остался до смерти короткий и призрачный миг. Но все-таки что-то осталось от жизни безумной, От дней и ночей, от бессонниц, от яви и снов. Есть Бог надо мной, справедливый, печальный, разумный, И Агнец заколот для трапезы блудных сынов. Из нищей мансарды, из лютого холода ночи, Из боли и голода, страха, позора и зла Приду я на пир и увижу отцовские очи И где-нибудь сяду у самого края стола.

«Мы вышли ранним утром...»

Мы вышли ранним утром С тобой из кабака, Мерцала перламутром И золотом река.

Звезда еще сияла, С огнем зари борясь, И алым отливала У подворотен грязь.

И облако укором, Или надеждой мне, Божественным узором Летело в вышине.

И было в синей дали, Прохладе и весне Все то, о чем мечтали, Что видели во сне.

«О гибели страны единственной...»

- О гибели страны единственной,
- О гибели ее души,
- О сверхлюбимой, сверхъединственной
- В свой час предсмертный напиши.

«Я слишком поздно вышел на свидание...»

Я слишком поздно вышел на свидание, Все ближе ночь, и весь в крови закат, Темна тропа надежд, любви, мечтаний, Ночь все черней, путь не вернуть назад.

Я заблудился в этом мраке душном, Глаза открыты — не видать ни зги, Кружит звезда в эфире безвоздушном, О Господи Распятый, помоги!

Я стал немым, но лира плачет в мире. О Господи, дай смерть такую, чтоб В гробовой тьме я прикасался к лире, Чтоб лирой стал меня объявший гроб.



Владислав Фелицианович Ходасевич 1886–1939



Берлинское

Что ж? От озноба и простуды — Горячий грог или коньяк. Здесь музыка, и звон посуды, И лиловатый полумрак.

А там, за толстым и огромным Отполированным стеклом, Как бы в аквариуме темном, В аквариуме голубом —

Многоочитые трамваи Плывут между подводных лип, Как электрические стаи Светящихся ленивых рыб.

И там, скользя в ночную гнилость, На толще чуждого стекла В вагонных окнах отразилась Поверхность моего стола, —

И, проникая в жизнь чужую, Вдруг с отвращеньем узнаю Отрубленную, неживую, Ночную голову мою.

«Было на улице полутемно...»

Было на улице полутемно. Стукнуло где-то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась, Быстрая тень со стены сорвалась —

Счастлив, кто падает вниз головой: Мир для него хоть на миг — а иной.

«Весенний лепет не разнежит...»

Весенний лепет не разнежит Сурово стиснутых стихов. Я полюбил железный скрежет Какофонических миров.

В зиянии разверстых гласных Дышу легко и вольно я. Мне чудится в толпе согласных — Льдин взгроможденных толчея.

Мне мил — из оловянной тучи Удар изломанной стрелы, Люблю певучий и визгучий Лязг электрической пилы.

И в этой жизни мне дороже Всех гармонических красот — Дрожь, побежавшая по коже, Иль ужаса холодный пот,

Иль сон, где, некогда единый, — Взрываясь, разлетаюсь я, Как грязь, разбрызганная шиной По чуждым сферам бытия.

Слепой

Палкой щупая дорогу, Бродит наугад слепой, Осторожно ставит ногу И бормочет сам с собой. А на бельмах у слепого Целый мир отображен: Дом, лужок, забор, корова, Клочья неба голубого — Всё, чего не видит он.

«Вдруг из-за туч озолотило...»

Вдруг из-за туч озолотило И столик, и холодный чай. Помедли, зимнее светило, За черный лес не упадай!

Дай посиять в румяном блеске, Прилежным поскрипеть пером. Живет в его проворном треске Весь вздох о бытии моем.

Трепещущим, колючим током С раздвоенного острия Бежит — и на листе широком Отображаюсь... нет, не я:

Лишь угловатая кривая, Минутный профиль тех высот, Где, восходя и ниспадая, Мой дух страдает и живет.

«С берлинской улицы...»

С берлинской улицы Вверху луна видна. В берлинских улицах Людская тень длинна.

Дома — как демоны, Между домами — мрак; Шеренги демонов, И между них — сквозняк.

Дневные помыслы, Дневные души — прочь: Дневные помыслы Перешагнули в ночь.

Опустошенные, На перекрестки тьмы, Как ведьмы, по трое Тогда выходим мы.

Нечеловечий дух, Нечеловечья речь — И песьи головы Поверх сутулых плеч.

Зеленой точкою Глядит луна из глаз, Сухим неистовством Обуревая нас.

В асфальтном зеркале Сухой и мутный блеск — И электрический Над волосами треск.

An maziecken^[1]

Зачем ты за пивною стойкой? Пристала ли тебе она? Здесь нужно быть девицей бойкой, — Ты нездорова и бледна.

С какой-то розою огромной У нецелованных грудей, — А смертный венчик, самый скромный, Украсил бы тебя милей.

Ведь так прекрасно, так нетленно Скончаться рано, до греха. Родители же непременно Тебе отыщут жениха.

Так называемый хороший И вправду — честный человек Перегрузит тяжелой ношей Твой слабый, твой короткий век.

Уж лучше бы — я еле смею Подумать про себя о том — Попасться бы тебе злодею В пустынной роще, вечерком.

Уж лучше в несколько мгновений И стыд узнать, и смерть принять, И двух нетлении, двух растлений Не разделять, не разлучать.

Лежать бы в платьице измятом Одной, в березняке густом, И нож под левым, лиловатым, Еще девическим соском.

«Нет, не найду сегодня пищи я…»

Нет, не найду сегодня пищи я Для утешительной мечты: Одни шарманщики, да нищие, Да дождь — всё с той же высоты.

Тускнеет в лужах электричество, Нисходит предвечерний мрак На идиотское количество Серощетинистых собак.

Та — ткнется мордою нечистою И, повернувшись, отбежит, Другая лапою когтистою Скребет обшмыганный гранит.

Те — жилятся, присев на корточки, Повесив набок языки, — А их из самой верхней форточки Зовут хозяйские свистки.

Всё высвистано, прособачено. Вот так и шлепай по грязи, Пока не вздрогнет сердце, схвачено Внезапным треском жалюзи.

«Всё каменное. В каменный пролет...»

Всё каменное. В каменный пролет Уходит ночь. В подъездах, у ворот —

Как изваянья— слипшиеся пары. И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары.

Бренчит о камень ключ, гремит засов. Ходи по камню до пяти часов,

Жди: резкий ветер дунет в окарино По скважинам громоздкого Берлина —

И грубый день взойдет из-за домов Над мачехой российских городов.

«Встаю расслабленный с постели...»

Встаю расслабленный с постели. Не с Богом бился я в ночи, — Но тайно сквозь меня летели Колючих радио лучи.

И мнится: где-то в теле живы, Бегут по жилам до сих пор Москвы бунтарские призывы И бирж всесветный разговор.

Незаглушимо и сумбурно Пересеклись в моей тиши Ночные голоса Мельбурна С ночными знаньями души.

И чьи-то имена, и цифры Вонзаются в разъятый мозг, Врываются в глухие шифры Разряды океанских гроз.

Хожу — и в ужасе внимаю Шум, не внимаемый никем. Руками уши зажимаю — Всё тот же звук! А между тем...

О, если бы вы знали сами, Европы темные сыны, Какими вы *еще* лучами Неощутимо пронзены!

Хранилище

По залам прохожу лениво. Претит от истин и красот. Еще невиданные дива, Признаться, знаю наперед.

И как-то тяжко, больно даже Душою жить — который раз? — В кому-то снившемся пейзаже, В когда-то промелькнувший час.

Всё бьется человечий гений: То вверх, то вниз. И то сказать: От восхождений и падений Уж позволительно устать.

Нет! полно! Тяжелеют веки Пред вереницею Мадон, — И так отрадно, что в аптеке Есть кисленький пирамидон.

«Интриги бирж, потуги наций...»

Интриги бирж, потуги наций. Лавина движется вперед. А всё под сводом Прокураций Дух беззаботности живет.

И беззаботно так уснула, Поставив туфельки рядком, Неомрачимая Урсула У Алинари за стеклом.

И не без горечи сокрытой Хожу и мыслю иногда, Что Некто, мудрый и сердитый, Однажды поглядит сюда,

Нечаянно развеселится, Весь мир улыбкой озаря, На шаль красотки заглядится, Забудется, как нынче я,—

И всё исчезнет невозвратно Не в очистительном огне, А просто — в легкой и приятной Венецианской болтовне.

Из дневника

Должно быть, жизнь и хороша, Да что поймешь ты в ней, спеша Между купелию и моргом, Когда мытарится душа То отвращеньем, то восторгом?

Непостижимостей свинец Всё толще над мечтой понурой,— Вот и дуреешь наконец, Как любознательный кузнец Над просветительной брошюрой.

Пора не быть, а пребывать, Пора не бодрствовать, а спать, Как спит зародыш крутолобый, И мягкой вечностью опять Обволокнуться, как утробой.

Перед зеркалом

Nel mezzo del cammin di nostra vita. [2]

Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого, Желто-серого, полуседого И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом Танцевавший на дачных балах,— Это я, тот, кто каждым ответом Желторотым внушает поэтам Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры Всю мальчишечью вкладывал прыть, — Это я, тот же самый, который На трагические разговоры Научился молчать и шутить?

Впрочем — так и всегда на средине Рокового земного пути: От ничтожной причины — к причине, А глядишь — заплутался в пустыне, И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками На парижский чердак загнала. И Виргилия нет за плечами, — Только есть одиночество — в раме Говорящего правду стекла.

Окна во двор

Несчастный дурак в колодце двора Причитает сегодня с утра, И лишнего нет у меня башмака, Чтобы бросить его в дурака. Кастрюли, тарелки, пьянино гремят, Баюкают няньки крикливых ребят. С улыбкой сидит у окошка глухой, Зачарован своей тишиной. Курносый актер перед пыльным трюмо Целует портреты и пишет письмо,— И, честно гонясь за правдивой игрой, В шестнадцатый раз умирает герой. Отец уж надел котелок и пальто, Но вернулся, бледный как труп: «Сейчас же отшлепать мальчишку за то, Что не любит луковый суп!» Небритый старик, отодвинув кровать, Забивает старательно гвоздь, Но сегодня успеет ему помешать Идущий по лестнице гость.

Рабочий лежит на постели в цветах.

Очки на столе, медяки на глазах.
Подвязана челюсть, к ладони ладонь.
Сегодня в лед, а завтра в огонь.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Что верно, то верно! Нельзя же силком Девчонку тащить на кровать! Ей нужно сначала стихи почитать, Потом угостить вином...

.....

Вода запищала в стене глубоко: Должно быть, по трубам бежать нелегко, Всегда в тесноте и всегда в темноте, В такой темноте и в такой тесноте!

Баллада

Мне невозможно быть собой, Мне хочется сойти с ума, Когда с беременной женой Идет безрукий в синема.

Мне лиру ангел подает, Мне мир прозрачен, как стекло, А он сейчас разинет рот Пред идиотствами Шарло.

За что свой незаметный век Влачит в неравенстве таком Беззлобный, смирный человек С опустошенным рукавом?

Мне хочется сойти с ума, Когда с беременной женой Безрукий прочь из синема Идет по улице домой.

Ремянный бич я достаю С протяжным окриком тогда И ангелов наотмашь бью, И ангелы сквозь провода

Взлетают в городскую высь. Так с венетийских площадей Пугливо голуби неслись От ног возлюбленной моей.

Тогда, прилично шляпу сняв, К безрукому я подхожу, Тихонько трогаю рукав И речь такую завожу:

«Pardon, monsieur^[3], когда в аду За жизнь надменную мою Я казнь достойную найду, А вы с супругою в раю

Спокойно будете витать, Юдоль земную созерцать, Напевы дивные внимать, Крылами белыми сиять, —

Тогда с прохладнейших высот Мне сбросьте перышко одно: Пускай снежинкой упадет На грудь спаленную оно».

Стоит безрукий предо мной И улыбается слегка, И удаляется с женой, Не приподнявши котелка.

Звезды

Вверху — грошовый дом свиданий. Внизу — в грошовом «Казино» Расселись зрители. Темно. Пора щипков и ожиданий. Тот захихикал, тот зевнул... Но неудачник облыселый Высоко палочкой взмахнул. Открылись темные пределы, И вот — сквозь дым табачных туч — Прожектора зеленый луч. На авансцене, в полумраке, Раскрыв золотозубый рот, Румяный хахаль в шапокляке О звездах песенку поет. И под двуспальные напевы На полинялый небосвод Ведут сомнительные девы Свой непотребный хоровод. Сквозь облака, по сферам райским (Улыбочки туда-сюда) С каким-то веером китайским Плывет Полярная Звезда. За ней вприпрыжку поспешая, Та пожирней, та похудей, Семь звезд — Медведица Большая — Трясут четырнадцать грудей. И, до последнего раздета, Горя брильянтовой косой, Вдруг жидколягая комета Выносится перед толпой. Глядят солдаты и портные На рассусаленный сумбур, Играют сгустки жировые Ha бедрах Etoile d'amour 4, Несутся звезды в пляске, в тряске,

Звучит оркестр, поет дурак,
Летят алмазные подвязки
Из мрака в свет, из света в мрак.
И заходя в дыру всё ту же,
И восходя на небосклон, —
Так вот в какой постыдной луже
Твой День Четвертый отражен!..
Не легкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.

Петербург

Напастям жалким и однообразным Там предавались до потери сил. Один лишь я полуживым соблазном Средь озабоченных ходил.

Смотрели на меня — и забывали Клокочущие чайники свои; На печках валенки сгорали; Все слушали стихи мои.

А мне тогда в тьме гробовой, российской, Являлась вестница в цветах, И лад открылся музикийский Мне в сногсшибательных ветрах.

И я безумел от видений, Когда чрез ледяной канал, Скользя с обломанных ступеней, Треску зловонную таскал,

И, каждый стих гоня сквозь прозу, Вывихивая каждую строку, Привил-таки классическую розу К советскому дичку.

Бедные рифмы

Всю неделю над мелкой поживой Задыхаться, тощать и дрожать, По субботам с женой некрасивой Над бокалом, обнявшись, дремать,

В воскресенье на чахлую траву Ехать в поезде, плед разложить, И опять задремать, и забаву Каждый раз в этом всем находить,

И обратно тащить на квартиру Этот плед, и жену, и пиджак, И ни разу по пледу и миру Кулаком не ударить вот так, —

О, в таком непреложном законе, В заповедном смиренье таком Пузырьки только могут в сифоне — Вверх и вверх, пузырек с пузырьком.

Скала

Нет у меня для вас ни слова, Ни звука в сердце нет, Виденья бедные былого, Друзья погибших лет!

Быть может, умер я, быть может Заброшен в новый век, А тот, который с вами прожит, Был только волн разбег,

И я, ударившись о камни, Окровавлен, но жив,— И видится издалека мне, Как вас несет отлив.

Веселье

Полузабытая отрада, Ночной попойки благодать: Хлебнешь — и ничего не надо, Хлебнешь — и хочется опять.

И жизнь перед нетрезвым взглядом Глубоко так обнажена, Как эта гибкая спина У женщины, сидящей рядом.

Я вижу тонкого хребта Перебегающие звенья, К ним припадаю на мгновенье — И пудра мне пылит уста.

Смеется легкое созданье, А мне отрадно сочетать Неутешительное знанье С блаженством ничего не знать.

Когда меня пред божий суд На черных дрогах повезут,

Смутятся нищие сердца При виде моего лица.

Оно их тайно восхитит И страх завистливый родит.

Отстав от шествия, тайком, Воображаясь мертвецом,

Тогда пред стеклами витрин Из вас, быть может, не один

Украдкой так же сложит рот, И нос тихонько задерет,

И глаз полуприщурит свой, Чтоб видеть, как закрыт другой.

Но свет (иль сумрак?) тайный тот На чудака не снизойдет.

He отразит румяный лик, Чем я ужасен и велик: Ни почивающих теней На вещей бледности моей,

Ни беспощадного огня, Который уж лизнул меня.

Последнюю мою примету Чужому не отдам лицу...

He подражайте ж мертвецу, Как подражаете поэту.

1928

«Сквозь уютное солнце апреля...»

Сквозь уютное солнце апреля — Неуютный такой холодок.

И — смерчом по дорожке песок,

И — смолкает скворец пустомеля.

Там над северным краем земли Черно-серая вздутая туча. Котелки поплотней нахлобуча, Попроворней два франта прошли.

И под шум градобойного гула — В сердце гордом, веселом и злом: «Это молнии нашей излом, Это наша весна допорхнула!»

1937



Марина Ивановна Цветаева 1892–1941



«Есть час на те слова...»

Есть час на те слова. Из слуховых глушизн Высокие права Выстукивает жизнь.

Быть может — от плеча, Протиснутого лбом. Быть может — от луча, Невидимого днем.

В напрасную струну Прах — взмах на простыню. Дань страху своему И праху своему.

Жарких самоуправств Час — и тишайших просьб. Час безземельных братств, Час мировых сиротств.

11 июня 1922

«Когда же, Господин...»

Когда же, Господин, На жизнь мою сойдет Спокойствие седин, Спокойствие высот.

Когда ж в пратишину *Тех* первоголубизн Высокое плечо, Всю вынесшее жизнь.

Ты, Господи, один, Один, никто из вас, Как с пуховых горбин В синь горнюю рвалась.

Как под упорством уст Сон — слушала — траву... (Здесь, на земле искусств, Словесницей слыву!)

И как меня томил Лжи — ломовой оброк, Как из последних жил В дерева первый вздрог...

Дерева — первый — вздрог, Голубя — первый — ворк. (Это не твой ли вздрог,

Гордость, не твой ли ворк, Верность?)

— Остановись,

Светопись зорких стрел! В тайнописи любви Небо — какой пробел!

Если бы — не — рассвет: Дребезг, и свист, и лист, Если бы не сует Сих суета — сбылись Жизни б...

Не луч, а бич —

В жимолость нежных тел. В опромети добыч Небо — какой предел!

День. Ломовых дорог Ков. — Началась. — Пошла Дикий и тихий вздрог Вспомнившего плеча.

Прячет...

Как из ведра — Утро. Малярный мел. В летописи ребра Небо — какой пробел!

22-23 июня 1922

«Думалось: будут легки...»

Думалось: будут легки Дни — и бестрепетна смежность Рук. — Взмахом руки, Друг, остановимте нежность.

Не — поздно еще! [5] В рас — светные щели (Не поздно!) — еще Нам птицы не пели.

Будь на — стороже! Последняя ставка! Нет, поздно уже Друг, если до завтра!

Земля да легка! Друг, в самую сердь! Не в наши лета Откладывать смерть!

Мертвые — хоть — спят! Только моим сна нет — Снам! — Взмахом лопат Друг — остановимте память!

«Руки — ив круг...»

Руки — ив круг Перепродаж и переуступок! Только бы губ, Только бы рук мне не перепутать!

Этих вот всех Суетностей, от которых сна нет. Руки воздев Друг, заклинаю свою же память!

Чтобы в стихах (Свалочной яме моих Высочеств!) Ты не зачах, Ты не усох наподобье прочих.

Чтобы в груди (В тысячегрудой моей могиле Братской!) — дожди Тысячелетий тебя не мыли...

Тело меж тел,
— Ты, что мне пропадом был двухзвёздным!..
Чтоб не истлел
С надписью: не опознан.

Берлину

Дождь убаюкивает боль. Под ливни опускающихся ставень Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль Копыта — как рукоплесканья.

Поздравствовалось — и слилось. В оставленности златозарной Над сказочнейшим из сиротств Вы смилостивились, казармы!

«Вкрадчивостию волос...»

Вкрадчивостию волос: В гладь и в лоск Оторопию продольной —

Синь полунощную, масть Воронову. — Вгладь и всласть Оторопи вдоль — ладонью.

Неженка! — Не обманись! Так заглаживают мысль Злостную: разрыв — разлуку — Лестницы последний скрип...

Так заглаживают шип Розовый... — Поранишь руку! Ведомо мне в жизни рук Многое. — Из светлых дуг

Присталью неотторжимой Весь противушерстный твой Строй выслеживаю: смоль, Стонущую под нажимом.

Жалко мне твоей упорствующей ладони: в лоск Волосы, — вот-вот уж через

Край — глаза... Загнана внутрь Мысль навязчивая: утр Наваждение — под череп!

«Леты подводный свет...»

Леты подводный свет, Красного сердца риф. Застолбенел ланцет, Певчее горло вскрыв:

Не раскаленность жерл, Не распаленность скверн — Нерастворенный перл В горечи певчих горл.

Горе горе! Граним, Плавим и мрем — вотще. Ибо нерастворим В голосовом луче

Жемчуг...

Железом в хрип, Тысячей пил и свёрл— Неизвлеченный шип В горечи певчих горл.

11 августа 1922

«Это пеплы сокровищ...»

Это пеплы сокровищ: Утрат, обид. Это пеплы, пред коими В прах — гранит.

Голубь голый и светлый, Не живущий четой. Соломоновы пеплы Над великой тщетой.

Беззакатного времени Грозный мел. Значит Бог в мои двери — Раз дом сгорел!

Не удушенный в хламе, Снам и дням господин, Как отвесное пламя Дух — из ранних седин!

И не вы меня предали, Годы, в тыл! Эта седость — победа Бессмертных сил.

27 сентября 1922

«Спаси Господи, дым!..»

Спаси Господи, дым! — Дым-то, Бог с ним! А главное — сырость! С тем же страхом, с каким Переезжают с квартиры:

С той же лампою-вплоть,— Лампой нищенств, студенчеств, окраин. Хоть бы деревце хоть Для детей! — И каков-то хозяин?

И не слишком ли строг Тот, в монистах, в монетах, в туманах, Непреклонный как рок Перед судорогою карманов.

И каков-то сосед? Хорошо б холостой, да потише! Тоже сладости нет В том-то, в старом — да *нами* надышан

Дом, пропитан насквозь! Нашей затхлости запах! Как с ватой В ухе — спелось, сжилось! Не чужими: своими захватан!

Стар-то стар, сгнил-то сгнил, А всё мил... А уж тут: номера ведь! Как рождаются в мир Я не знаю: но *так* умирают.

Хвала богатым

И засим, упредив заране, Что меж мной и тобою — мили! Что себя причисляю к рвани, Что честно мое место в мире:

Под колесами всех излишеств: Стол уродов, калек, горбатых... И засим, с колокольной крыши Объявляю: люблю богатых!

За их корень, гнилой и шаткий, С колыбели растящий рану, За растерянную повадку Из кармана и вновь к карману.

За тишайшую просьбу уст их, Исполняемую как окрик. И за то, что их в рай не впустят, И за то, что в глаза не смотрят.

За их тайны — всегда с нарочным! За их страсти — всегда с рассыльным! За навязанные им ночи, (И целуют и пьют насильно!)

И за то, что в учетах, в скуках, В позолотах, в зевотах, в ватах, Вот меня, наглеца, не купят — Подтверждаю: люблю богатых!

А еще, несмотря на бритость, Сытость, питость (моргну — и трачу!), За какую-то — вдруг — побитость, За какой-то их взгляд собачий

Сомневающийся...

— не стержень ли к нулям? Не шалят ли гири? И за то, что меж всех отверженств Нет — такого сиротства в мире!

Есть такая дурная басня: Как верблюды в иглу пролезли. ...За их взгляд, изумленный на-смерть, Извиняющийся в болезни,

Как в банкротстве... «Ссудил бы... Рад бы — Да...»

За тихое, с уст зажатых: «По каратам считал, я — брат был...» Присягаю: люблю богатых!

30 сентября 1922

Рассвет на рельсах

Покамест день не встал С его страстями стравленными, Из сырости и шпал Россию восстанавливаю.

Из сырости — и свай, Из сырости — и серости. Покамест день не встал И не вмешался стрелочник.

Туман еще щадит, Еще в холмы запахнутый Спит ломовой гранит, Полей не видно шахматных...

Из сырости — и стай... Еще вестями шалыми Лжет вороная сталь — Еще Москва за шпалами!

Так, под упорством глаз — Владением бесплотнейшим Какая разлилась Россия — в три полотнища!

И — шире раскручу! Невидимыми рельсами По сырости пущу Вагоны с погорельцами: С пропавшими навек Для Бога и людей! (Знак: сорок человек И восемь лошадей.)

Так, посредине шпал, Где даль шлагбаумом выросла, Из сырости и шпал, Из сырости — и сирости,

Покамест день не встал С его страстями стравленными Во всю горизонталь — Россию восстанавливаю!

Без низости, без лжи: Даль — да две рельсы синие... Эй вон она! — Держи! По линиям, по линиям...

12 октября 1922

Эмигрант

Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами, Дамами, Думами, Не слюбившись с вами, не сбившись с вами, Неким — Шуманом пронося под полой весну: Выше! из виду! Соловьиным тремоло на весу — Некий — избранный.

Боязливейший, ибо взяв на дыб — Ноги лижете! Заблудившийся между грыж и глыб Бог в блудилище.

Лишний! Вышний! Выходец! Вызов! Ввысь Не отвыкший... Виселиц Не принявший... В рвани валют и виз Беги — выходец.

9 февраля 1923

Душа

```
Выше! Выше! Лови — летчицу! 
Не спросившись лозы — отческой 
Нереидою по — лощется, 
Нереидою в ла — зурь!
```

Лира! Лира! Хвалынь — синяя! Полыхание крыл — в скинии! Над мотыгами — и — спинами Полыхание двух бурь!

Муза! Муза! Да как — смеешь ты? Только узел фаты — веющей! Или ветер станиц — шелестом О страницы — и, смыв, взмыл...

И покамест — счета — кипами, И покамест — сердца — хрипами, Закипание — до — кипени Двух вспененных — крепись — крыл.

Так, над вашей игрой — крупною, (Между трупами — и — куклами!) Не обшупана, не куплена, Полыхая и пля — ша —

Шестикрылая, ра — душная, Между мнимыми — ниц! — сущая, Не задушена вашими тушами Ду — ша!

Расщелина

Чем окончился этот случай Не узнать ни любви, ни дружбе. С каждым днем отвечаешь глуше, С каждым днем пропадаешь глубже.

Так, ничем уже не волнуем, — Только дерево ветви зыблет — Как в расщелину ледяную — В грудь, что *так о* тебя расшиблась!

Из сокровищницы подобий Вот тебе — наугад — гаданье: Ты во мне как в хрустальном гробе Спишь, — во мне как в глубокой ране

Спишь, — тесна ледяная прорезь! Льды к своим мертвецам ревнивы: Перстень — панцирь — печать — и пояс. Без возврата и без отзыва.

Зря Елену клянете, вдовы! Не Елениной красной Трои Огнь! Расщелины ледниковой Синь, на дне опочиешь коей...

Сочетавшись с тобой, как Этна С Эмпедоклом... Усни, сновидец! А домашним скажи, что тщетно: Грудь своих мертвецов не выдаст.

«На назначенное свиданье...»

На назначенное свиданье Опоздаю. Весну в придачу Захвативши — приду седая. Ты его высоко́ назначил!

Буду годы идти — не дрогнул Вкус Офелии к горькой руте! Через горы идти — и стогны, Через души идти — и руки.

Землю долго прожить! Трущоба — Кровь! и каждая капля — заводь. Но всегда стороной ручьевой Лик Офелии в горьких травах.

Той, что, страсти хлебнув, лишь ила Нахлебалась! — Снопом на щебень! Я тебя высоко любила: Я себя схоронила в небе!

18 июня 1923

Рельсы

В некой разлинованности нотной Нежась наподобие простынь — Железнодорожные полотна, Рельсовая режущая синь!

Пушкинское: сколько их, куда их Гонит! (Миновало — не поют!) Это уезжают-покидают, Это остывают-отстают.

Это — остаются. Боль как нота Высящаяся... Поверх любви Высящаяся... Женою Лота Насыпью застывшие столбы...

Час, когда отчаяньем, как свахой, Простыни разостланы. — Твоя! — И обезголосевшая Сафо Плачет, как последняя швея.

Плач безропотности! Плач болотной Цапли, знающей уже... Глубок Железнодорожные полотна Ножницами режущий гудок.

Растекись напрасною зарею, Красное, напрасное пятно! ...Молодые женщины порою Льстятся на такое полотно.

Брат

Раскалена, как смоль: Дважды не вынести! Брат, но с какой-то столь Странною примесью

Смуты... (Откуда звук Ветки откромсанной?) Брат, заходящий вдруг Столькими солнцами!

Брат без других сестер: Напрочь присвоенный! По гробовой костер — Брат, но с условием:

Вместе и в рай и в ад! Раной — как розаном Соупиваться! (Брат, Адом дарованный!)

Брат! Оглянись в века: Не было крепче той Спайки. Назад — река... Снова прошепчется

Где-то, вдоль звезд и шпал, — Настежь, без третьего! — Что по ночам шептал Цезарь — Лукреции.

В глубокий час души и ночи, Не числящийся на часах, Я отроку взглянула в очи, Не числящиеся в ночах

Ничьих еще, двойной запрудой — Без памяти и по края! — Покоящиеся... — Отсюда

Жизнь начинается твоя.

Седеющей волчицы римской Взгляд, в выкормыше зрящей — Рим! Сновидящее материнство Скалы... Нет имени моим

Потерянностям... — Все́ покровы Сняв — выросшая из потерь! — Так некогда над тростниковой Корзиною клонилась дщерь Египетская...

14 июля 1923

2

В глубокий час души, В глубокий — ночи… (Гигантский шаг души, Души в ночи.)

В тот час, душа, верши Миры, где хочешь Царить — чертог души, Душа, верши.

Ржавь губы, пороши Ресницы— снегом. (Атлантский вздох души, Души— в ночи…)

В тот час, душа, мрачи Глаза, где Вегой Взойдешь... Сладчайший плод, Душа, горчи.

Горчи и омрачай: Расти: верши.

8 августа 1923

3

Есть час Души, как час Луны, Совы — час, мглы — час, тьмы час... Час Души — как час струны Давидовой сквозь сны

Сауловы... В тот час дрожи, Тщета, румяна смой! Есть час Души, как час грозы, Дитя, и час сей — мой.

Час сокровеннейших низов Грудных. — Плотины спуск! Все́ вещи сорвались с пазов, Все́ сокровенья — с уст!

С глаз — все́ завесы! Все́ следы — Вспять! На линейках — нот — Нет! Час Души, как час Беды, Дитя, и час сей — бьет.

Беда моя! — Так будешь звать. Так, лекарским ножом Истерзанные, дети — мать Корят: «Зачем живем?»

А та, ладонями свежа Горячку: «Надо. — Ляг». Да, час Души, как час ножа, Дитя, и нож сей — благ.

14 августа 1923

Наклон

Материнское — сквозь сон — ухо. У меня к тебе наклон слуха, Духа — к страждущему: жжет? да? У меня к тебе наклон лба,

Дозирающего вер—ховья. У меня к тебе наклон крови К сердцу, неба — к островам нег. У меня к тебе наклон рек,

Век... Беспамятства наклон светлый К лютне, лестницы к садам, ветви Ивовой к убеганью вех... У меня к тебе наклон *всех*

Звезд к земле (родовая тяга Звезд к звезде!) — тяготенье стяга К лаврам выстраданных мо—гил. У меня к тебе наклон крыл,

Жил... К дуплу тяготенье совье, Тяга темени к изголовью Гроба, — годы ведь уснуть тщусь! У меня к тебе наклон уст К роднику...

Заочность

Кастальскому току, Взаимность, заторов не ставь! Заочность: за оком Лежащая, вящая явь.

Заустно, заглазно, Как некое долгое là, Меж ртом и соблазном Версту расстояния для...

Блаженны длинноты, Широты забвений и зон! Пространством как нотой В тебя удаляясь, как стон

В тебе удлиняясь, Как эхо в гранитную грудь В тебя ударяясь: Не видь и не слышь и не будь —

Не надо мне белым По черному — мелом доски! Почти за пределом Души, за пределом тоски —

...Словесного чванства Последняя карта сдана. Пространство, пространство, Ты нынче — глухая стена!

Письмо

Так писем не ждут, Так ждут — письма. Тряпичный лоскут, Вокруг тесьма Из клея. Внутри — словцо. И счастье. И это — всё.

Так счастья не ждут, Так ждут — конца: Солдатский салют И в грудь — свинца Три дольки. В глазах красно́. И только. И это — всё.

Не счастья — стара! Цвет — ветер сдул! Квадрата двора И черных дул. (Квадрата письма: Чернил и чар!) Для смертного сна Никто не стар! Квадрата письма.

11 августа 1923

Минута

Минута: минущая: минешь! Так мимо же, и страсть и друг! Да будет выброшено ныне ж — Что завтра б — вырвано из рук! Минута: мерящая! Малость Обмеривающая, слышь: То никогда не начиналось, Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж

Другим, десятеричной кори Подверженным еще, из дел Не выросшим. Кто ты, чтоб море Разменивать? Водораздел

Души живой? О, мель! О, мелочь! У славного Царя Щедрот Славнее царства не имелось, Чем надпись: «И сие пройдет» —

На перстне... На путях обратных Кем не измерена тщета Твоих Аравии циферблатных И маятников маята?

Минута: мающая! Мнимость Вскачь — медлящая! В прах и в хлам Нас мелящая! *Ты, что минешь:* Минута: милостыня псам!

О как я рвусь тот мир оставить Где маятники душу рвут,

Где вечностью моею правит Разминовение минут.

12 августа 1923

Клинок

Между нами — клинок двуострый Присягнувши — и в мыслях класть.. Но бывают — страстные сестры! Но бывает — братская страсть!

Но бывает такая примесь Прерий в ветре и бездны в губ Дуновении... Меч, храни нас От бессмертных душ наших двух!

Меч, терзай нас и, меч, пронзай нас, Меч, казни нас, но, меч, знай, Что бывает такая крайность Правды, крыши такой край...

Двусторонний клинок — рознит? Он же сводит! Прорвав плащ Так своди же нас, страж грозный, Рану в рану и хрящ в хрящ!

(Слушай! если звезда, срываясь... Не по воле дитя с ладьи В море падает... Острова есть, Острова для любой любви...)

Двусторонний клинок, синим Ливший, красным пойдет... Меч Двусторонний — в себя вдвинем. Это будет — лучшее лечь!

Это будет — братская рана! Так, под звездами, и ни в чем Не повинные... Точно два мы Брата, спаянные мечом!

18 августа 1923

Отрывок

...Глазами казненных, Глазами сирот и вдов — Засады казенных Немыслящихся домов. Натянутый провод Веревки, рубахи взлет. И тайная робость: А кто-нибудь здесь... живет?

28 августа 1923

Крик станций

Крик станций: останься! Вокзалов: о жалость! И крик полустанков: Не Дантов ли Возглас: «Надежду оставь!» И крик паровозов.

Железом потряс
И громом волны океанской.
В окошечках касс,
Ты думал — торгуют пространством?
Морями и сушей?
Живейшим из мяс:
Мы мясо — не души!
Мы губы — не розы!
От нас? Нет — по нас
Колеса любимых увозят!
С такой и такою-то скоростью в час.

Окошечки касс.
Костяшечки страсти игорной.
Прав кто-то из нас,
Сказавши: любовь — живодерня!
«Жизнь — рельсы! Не плачь!»
Полотна — полотна — полотна...
(В глаза этих кляч
Владельцы глядят неохотно.)

«Без рва и без шва Нет счастья. Ведь с *тем* покупала?» Та швейка права, На это смолчавши: «Есть шпалы».

24 сентября 1923

Ночные места

Темнейшее из ночных Мест: мост. — Устами в уста! Неужели ж нам свой крест Тащить в дурные места,

Туда: в веселящий газ Глаз, газа... В платный Содом? На койку, где все до нас! На койку, где не вдвоем Никто... Никнет ночник. Авось — совесть уснет! (Вернейшее из ночных Мест—смерть!) Платных теснот Ночных — блаже вода! Вода — глаже простынь! Любить — блажь и беда! Туда — в хладную синь! Когда б в веры века Нам встать! Руки смежив! (Река — телу легка, И спать — лучше, чем жить!)

Любовь: зноб до кости! Любовь: зной до бела! Вода — любит концы. Река — любит тела.

4 октября 1923

«Брожу — не дом же плотничать...»

Брожу — не дом же плотничать, Расположись на росстани! Так, вопреки полотнищам Пространств, треклятым простыням

Разлук, с минутным баловнем Крадясь ночными тайнами, Тебя под всеми ржавыми Фонарными кронштейнами —

Краем плаща... За стойками — Краем стекла... (Хоть краешком Стекла!) Мертвец настойчивый, В очах — зачем качаешься?

По набережным — клятв озноб, По загородам — рифм обвал. Сжимают ли — «я б жарче сгреб», Внимают ли — «я б чище внял».

Всё ты один, во всех местах, Во всех мастях, на всех мостах. Моими вздохами — снастят! Моими клятвами — мостят!

Такая власть над сбивчивым Числом у лиры любящей, Что на тебя, небывший мой, Оглядываюсь — в будущее!

«Живу — не трогаю...»

Живу — не трогаю. Горы не срыть. Спроси безногого, Ответит: жить.

Не наша — богова Гора — Еговова! Котел да логово, — Живем без многого.

1 декабря 1924

«Существования котловиною...»

Существования котловиною Сдавленная, в столбняке глушизн, Погребенная заживо под лавиною Дней — как каторгу избываю жизнь.

Гробовое, глухое мое зимовье. Смерти: инея на уста-красны — Никакого иного себе здоровья Не желаю от Бога и от весны.

11 января 1925

«Что, Муза моя? Жива ли еще?..»

Что, Муза моя? Жива ли еще? Так узник стучит к товарищу В слух, в ямку, перстом продолбленную — Что Муза моя? Надолго ли ей?

Соседки, сердцами спутанные. Тюремное перестукиванье.

Что Муза моя? Жива ли еще? Глазами не знать желающими, Усмешкою правду кроющими, Соседскими, справа-коечными

— Что, братец? Часочек выиграли? Больничное перемигиванье.

Эх, дело мое! Эх, марлевое! Так небо боев над армиями, Зарницами вкось исчерканное, Ресничное пересвёркиванье.

В воронке дымка рассеянного — Солдатское пересмеиванье.

Ну, Муза моя! Хоть рифму еще! Щекой — Илионом вспыхнувшею К щеке: «Не крушись! Расковывает Смерть — узы мои! До скорого ведь?» Предсмертного ложа свадебного — Последнее перетрагиванье.

15 января 1925

«В седину — висок…»

В седину — висок, В колею — солдат, — Небо! — морем в тебя окрашиваюсь. Как на каждый слог — Что на тайный взгляд Оборачиваюсь, Охорашиваюсь.

В перестрелку — скиф, В христопляску — хлыст, — Море! — небом в тебя отваживаюсь. Как на каждый стих — Что на тайный свист Останавливаюсь, Настораживаюсь.

В каждой строчке: стой!
В каждой точке — клад.
— Око! — светом в тебе расслаиваюсь,
Расхожусь. Тоской
На гитарный лад
Перестраиваюсь,
Перекраиваюсь.

Не в пуху — в пере
Лебедином — брак!
Браки розные есть, разные есть!
Как на знак тире —
Что на тайный знак
Брови вздрагивают —
Заподазриваешь?

Не в чаю спитом Славы — дух мой креп. И казна моя — немалая есть! Под твоим перстом Что Господень хлеб Перемалываюсь, Переламываюсь.

22 января 1925

«Променявши на стремя...»

Променявши на стремя — Поминайте коня ворона! Невозвратна как время, Но возвратна как вы, времена Года, с первым из встречных

Предающая дело родни, Равнодушна как вечность, Но пристрастна как первые дни Весен... собственным пеньем

Опьяняясь как ночь — соловьем, Невозвратна как племя Вымирающее (о нем Гейне пел, — брак мой тайный: Слаще гостя и ближе, чем брат...) Невозвратна как Рейна Сновиденный убийственный клад. Чиста-злата — нержавый, Чиста-серебра — Вагнер? — нырни! Невозвратна как слава Наша русская...

19 февраля 1925

«Рас—стояние: версты, мили…»

Рас—стояние: версты, мили... Нас рас—ставили, рас—садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли.

Рас—стояние: версты, дали... Нас расклеили, распаяли, В две руки развели, распяв, И не знали, что это — сплав

Вдохновений и сухожилий... Не рассорили — рассорили, Расслоили...

Стена да ров.

Расселили нас как орлов-

Заговорщиков: версты, дали... Не расстроили — растеряли. По трущобам земных широт Рассовали нас как сирот.

Который уж, ну который — март?! Разбили нас — как колоду карт!

24 марта 1925

«Русской ржи от меня поклон...»

Русской ржи от меня поклон, Ниве, где баба застится. Друг! Дожди за моим окном, Беды и блажи на сердце...

Ты, в погудке дождей и бед То ж, что Гомер — в гекзаметре. Дай мне руку — на весь тот свет! Здесь — мои обе заняты.

7 мая 1925 Прага

«От родимых сёл, сёл!..»

От родимых сёл, сёл!
— Наваждений! Новоявленностей!
Чтобы поезд шел, шел,
Чтоб нигде не останавливался,

Никуда не приходил. В вековое! Незастроенное! Чтобы ветер бил, бил, Выбивалкою соломенною

Просвежил бы мозг, мозг — Всё осевшее и плесенное! — Чтобы поезд нёс, нёс, Быстрей лебедя, как в песенке...

Сухопутный шквал, шквал! Низвержений! Невоздержанностей! Чтобы поезд мчал, мчал, Чтобы только не задерживался.

Чтобы только не срастись! Не поклясться! не насытиться бы! Чтобы только — свист, свист Над проклятою действительностью.

Феодальных нив! Глыб Первозданных! незахватанностей! Чтобы поезд шиб, шиб, Чтобы только не засматривался

На родимых мест, мест Августейшие засушенности! Всё едино: Пешт, — Брест — Чтобы только не заслушивался.

Никогда не спать! Спать?! Грех последний, неоправданнейший. Птиц, летящих вспять, вспять По пятам деревьев падающих!

Чтоб не ночь, не две! — две?! — Еще дальше царства некоего — Этим поездом к тебе Всё бы ехала и ехала бы.

Конец мая 1925

Маяковскому

1

Чтобы край земной не вымер Без отчаянных дядей, Будь, младенец, Володимир: Целым миром володей!

2

Литературная — не в ней Суть, а вот — кровь пролейте! Выходит каждые семь дней. Ушедший — раз в столетье

Приходит. Сбит передовой Боец. Каких, столица, Еще тебе вестей, какой Еще — передовицы?

Ведь это, милые, у нас, Черновец — милюковцу: «Владимир Маяковский? Да-с. Бас, говорят, и в кофте

Ходил...»

Эх кровь-твоя-кровца! Как с новью примириться, Раз первого ее бойца Кровь — на второй странице (Известий). «В гробу, в обыкновенном темном костюме, в устойчивых, грубых ботинках, подбитых железом, лежит величайший поэт революции».

(«Однодневная газета», 24 апреля 1930 г.)

В сапогах, подкованных железом, В сапогах, в которых гору брал — Никаким обходом ни объездом Не доставшийся бы перевал —

Израсходованных до сиянья За двадцатилетний перегон. Гору пролетарского Синая, На котором праводатель — он.

В сапогах — двустопная жилплощадь, Чтоб не вмешивался жилотдел — В сапогах, в которых, понаморщась, Гору нес — и брал — и клял — и пел —

В сапогах и до и без отказу
По невспаханностям Октября,
В сапогах — почти что водолаза:
Пехотинца, чище ж говоря:

В сапогах великого похода, На донбассовских, небось, гвоздях. Гору горя своего народа Стапятидесяти (Госиздат)

Миллионного... — В котором роде

Своего, когда который год: «Ничего-де своего в заводе!» Всех народов горя гору — вот.

Так вот в этих — про его Рольс-Ройсы Говорок еще не приутих — Мертвый пионерам крикнул: Стройся! В сапогах — свидетельствующих.

4

Любовная лодка разбилась о быт.

И полушки не поставишь На такого главаря. Лодка-то твоя, товарищ, Из какого словаря?

В лодке да еще в любовной Запрокинуться — скандал! Разин — чем тебе не ровня? — Лучше с бытом совладал.

Эко новшество — лекарство, Хлещущее что твой кран! Парень, не по-пролетарски Действуешь — а что твоя пан!

Стоило ж в богов и в матку Нас, чтоб — кровь, а не рассвет! — Класса белую подкладку Выворотить напослед.

Вроде юнкера, на Tоске Выстрелившего — с тоски! Парень! не по-маяковски Действуешь: по-шаховски.

Фуражечку б на бровишки И — прощай, моя джаным! Правнуком своим проживши, Кончил — прадедом своим.

То-то же как на поверку Выйдем — стыд тебя заест: Совето-российский Вертер. Дворяно-российский жест.

Только раньше — в околодок, Нынче ж... — Враг ты мой родной! Никаких любовных лодок Новых — нету под луной.

5

Выстрел — в самую душу, Как только что по врагам. Богоборцем разрушен Сегодня последний храм.

Еще раз не осекся, И, в точку попав, — усоп. Было стало быть сердце, Коль выстрелу следом — стоп. (Зарубежье, встречаясь: «Ну, казус! Каков фугас! Значит — тоже сердца есть? И с той же, что и у нас?»)

Выстрел — в самую точку, Как в ярмарочную цель. (Часто — левую мочку Отбривши — с женой в постель.)

Молодец! Не прошибся! А женщины ради — что ж! И Елену паршивкой — Подумавши — назовешь.

Лишь одним, зато знатно, Нас лефовец удивил: Только вправо и знавший Палить-то, а тут — слевил.

Кабы в правую — свёрк бы Ланцетик — и здрав ваш шеф. Выстрел в *левую* створку: Ну в самый те Центропев!

6

Зерна огненного цвета Брошу на ладонь, Чтоб предстал он в бездне света Красный как огонь.

Советским вельможей, При полном Синоде...

- Здорово, Сережа!
- Здорово, Володя!

Умаялся? — Малость.

- По общим? По личным.
- Стрелялось? Привычно.
- Горелось? Отлично.
- Так стало быть пожил?
- Пасс в нек'тором роде.
- ...Негоже, Сережа!
- ...Негоже, Володя!

А помнишь, как матом Во весь свой эстрадный Басище — меня-то Обкладывал? — Ладно

Уж... — Вот те и шлюпка Любовная лодка!
Ужель из-за юбки?
— Хуже́й из-за водки.

Опухшая рожа. С тех пор и на взводе? Негоже, Сережа. Негоже, Володя.

А впрочем — не бритва — Сработано чисто. Так стало быть бита Картишка? — Сочится.

- Приложь подорожник.
- Хорош и коллодий. Приложим, Сережа?
- Приложим, Володя.

А что на Рассее— На матушке? — То есть Где? — В Эсэсэсере Что нового? — Строят.

Родители — родят, Вредители — точут, Издатели — водят, Писатели — строчут.

Мост новый заложен, Да смыт половодьем. Всё то же, Сережа! — Всё то же, Володя.

А певчая стая?
— Народ, знаешь, тертый!
Нам лавры сплетая,
У нас как у мертвых

Прут. Старую Росту Да завтрашним лаком. Да не обойдешься С одним Пастернаком.

Хошь, руку приложим На ихнем безводье? Приложим, Сережа?

— Приложим, Володя!

Еще тебе кланяется...
— А что добрый
Наш Льсан Алексаныч?
— Вон — ангелом! — Федор

Кузьмич? — На канале: По красные щеки Пошел. — Гумилев Николай? — На Востоке.

(В кровавой рогоже, На полной подводе...) — Всё то же, Сережа. — Всё то же, Володя.

А коли всё то же, Володя, мил-друг мой — Вновь руки наложим, Володя, хоть рук и —

Нет.

— Хоть и нету, Сережа, мил-брат мой, Под царство и это Подложим гранату!

И на раствороженном Нами Восходе — Заложим, Сережа! — Заложим, Володя!

Много храмов разрушил, А этот — ценней всего. Упокой, Господи, душу Усопшего врага твоего.

Август 1930

Савойя

Страна

С фонарем обшарьте Весь подлунный свет! Той страны — на карте Нет, в пространстве — нет. Выпита как с блюдца,— Донышко блестит. Можно ли вернуться В дом, который — срыт?

Заново родися — В новую страну! Ну-ка, воротися На спину коню

Сбросившему! Кости Целы-то хотя? Эдакому гостю Булочник ломтя

Ломаного, плотник — Гроба не продаст! ...Той ее — несчетных Верст, небесных царств,

Той, где на монетах — Молодость моя — Той России — нету. — Как и той меня.

Конец июня 1931

Мёдон

Родина

О, неподатливый язык! Чего бы попросту — мужик Пойми, певал и до меня: — Россия, родина моя!

Но и с калужского холма Мне открывалася *она* — Даль — тридевятая земля! Чужбина, родина моя!

Даль, прирожденная как боль, Настолько родина и столь Рок, что повсюду, через всю Даль — всю ее с собой несу!

Даль, отдалившая мне близь, Даль, говорящая: вернись Домой! Со всех до горних звезд Меня снимающая мест.

Недаром, голубей воды, Я далью обдавала лбы.

Ты! Сей руки своей лишусь — Хоть двух! Губами подпишусь На плахе: распрь моих земля — Гордыня, родина моя!

12 мая 1932

«Никуда не уехали — ты да я…»

Никуда не уехали — ты да я — Обернулись прорехами — все моря! Совладельцам пятерки рваной — Океаны не по карману!

Нищеты вековечная сухомять! Снова лето, как корку, всухую мять! Обернулось нам море — мелью: Наше лето — другие съели!

С жиру лопающиеся: жир — их «лоск», Что не только что масло едят, а мозг Наш — в поэмах, в сонатах, в сводах: Людоеды в парижских модах!

Нами — лакомящиеся: франк за вход. О, урод, как водой туалетной — рот Сполоснувший — бессмертной песней! Будьте прокляты вы — за весь мой

Стыд: вам руку жать — когда зуд в горсти: Пятью пальцами — да от всех пяти Чувств — на память о чувствах добрых — Через всё вам лицо — автограф!

1932–1935

«Вскрыла жилы: неостановимо...»

Вскрыла жилы: неостановимо, Невосстановимо хлещет жизнь. Подставляйте миски и тарелки! Всякая тарелка будет — мелкой, Миска — плоской.

Через край — и мимо — В землю черную, питать тростник. Невозвратно, неостановимо, Невосстановимо хлещет стих.

6 января 1934

«Тоска по родине! Давно...»

Тоска по родине! Давно Разоблаченная морока! Мне совершенно всё равно — Где совершенно-одинокой

Быть, по каким камням домой Брести с кошелкою базарной В дом и не знающий, что — мой, Как госпиталь, или казарма.

Мне всё равно, каких среди Лиц ощетиниваться пленным Львом, из какой людской среды Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств. Камчатским медведем без льдины — Где не ужиться (и не тщусь!) Где унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком Родным, его призывом млечным. Мне безразлично — на каком Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн Глотателем, доильцем сплетен) Двадцатого столетья — он, А я — до всякого столетья!

Остолбеневши, как бревно, Оставшееся от аллеи — Мне все — равны, мне всё — равно, И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего. Все признаки с меня, все меты, Все даты — как рукой сняло: Душа, родившаяся — где-то.

Так край меня не уберег Мой, что и самый зоркий сыщик — Вдоль всей души, всей — поперек! Родимого пятна *не* сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, И всё — равно, и всё — едино. Но если по дороге — куст Встает, особенно — рябина...

3 мая 1934

Читатели газет

Ползет подземный змей, Ползет, везет людей. И каждый — со своей Газетой (со своей Экземой!)

Жвачный тик, Газетный костоед. Жеватели мастик, Читатели газет.

Кто — чтец? Старик? Атлет? Солдат? Ни черт, ни лиц, Ни лет. Скелет — раз нет Лица: газетный лист! Которым — весь Париж С лба до пупа одет. Брось, девушка!

Родишь —

Читателя газет.

Кача — «живет с сестрой», ются — «убил отца!» Качаются — тщетой Накачиваются.

Что́ для таких господ — Закат или рассвет? Глотатели пустот, Читатели газет!

Газет: читай: клевет,

Газет: читай: растрат, Что ни столбец — навет, Что ни абзац — отврат...

О, с чем на Страшный Суд Предстанете: на свет! Хвататели минут, Читатели газет!

— Пошел! Пропал! Исчез! Стар материнский страх. Мать! Гуттенбергов *пресс* Страшней, чем Шварцев *прах!*

Уж лучше на погост — Чем в гнойный лазарет Чесателей корост, Читателей газет!

Кто наших сыновей Гноит во цвете лет? Смесители кровей, *Писатели* газет!

Вот, други, — и куда Сильней, чем в сих строках! — Что думаю, когда С рукописью в руках

Стою перед лицом — Пустее места — нет! — Так значит — *нелицом* Редактора газет-

ной нечисти.

1–15 ноября 1935

Ванв

«Когда я гляжу на летящие листья...»

Когда я гляжу на летящие листья, Слетающие на булыжный торец, Сметаемые — как художника кистью, Картину кончающего наконец,

Я думаю (уж никому не по нраву Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид), Что явственно желтый, решительно ржавый Один такой лист на вершине — забыт.

Октябрь 1936

«Мне Францией — нету...»

Мне Францией — нету Щедрее страны! — На долгую память Два перла даны.

Они на ресницах Недвижно стоят. Дано мне отплытье Марии Стюарт.

1 июня 1939



notes

Примечания

К Марихен (нем.).

На середине пути нашей жизни (итал.).

Простите, сударь (фр.).

Звезда любви (фр.).

Ударяется и отрывается слог. Помечено не везде